

ГОВАРД ФАСТ

ГОЛЫЙ БОГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЦОПЭ»

**Published in the United States of America in English
by Frederick A. Praeger, Inc., 15 West 47 Street, New York 36.
Copyright by Frederick A. Praeger, Inc. All Rights Reserved.**

**Опубликовано в США на английском языке издательством
Фредерик А. Прегер, Нью-Йорк.
Все права сохраняются за издательством
Фредерик А. Прегер.**

ГОВАРД ФАСТ

ГОЛЫЙ БОГ

Перевод с английского

Издание Центрального Объединения
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)

Мюнхен

1958

Printed in West Germany.
Satz und Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstr. 3 b. Tel. 29 51 36.

THE NAKED GOD

The writer and the communist party

Howard Fast

ГОЛЫЙ БОГ

Писатель и коммунистическая партия

Говард Фаст

Перевод с английского под редакцией Ф. Лебедева

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В советском «Энциклопедическом словаре» в 1955 году об авторе этой книги — американском писателе Говарде Фасте — написано:

«Родился в 1914 г., видный общественный деятель, коммунист. Автор исторической трилогии, посвященной войне за независимость Америки (1775-1783) — «Гражданин Том Пейн» (1943) и др. На материале истории США 19-го века написан его роман «Последняя граница» (1941), описывающий зверское истребление индейцев американскими властями. В романе «Дорога свободы» (1944) показана мужественная борьба негритянского народа... Романы «Кларктон» (1947), «Подвиг Сакко и Ванцетти» (1953) и пьеса «30 сребренников» (1951) рисуют классовую борьбу в современной Америке. В романе «Сайлес Тиберман» (1954) показана судьба честного американца, профессора, ставшего борцом против пропаганды войны, организуемой правительственными кругами США. Фаст — смелый борец за мир и демократию, автор боевых статей и очерков по важнейшим вопросам политики и литературы. В 1953 г. Фасту присуждена Международная Сталинская премия «за укрепление мира между народами»...

А 30 января 1958 года о том же Говарде Фасте московская «Литературная газета» пишет:

«Говард Фаст, картинно, в расчете на шумную рекламу... пишет письма, статьи, целые книги, доказывая, что он был слеп, но прозрел... «На! — сует он самодельный микроскоп в руки истории, — гляди, как раздеваюсь я догола и ковыряю душевные нарывы свои!»... Он прямо заявляет, что не терпит демократию социалистическую и обожает капиталистическую, он отказывается от революционной борьбы, предпочитая ей, да и то робковато, гомеопатические дозы реформизма, он не доверяет социалистической законности... а сверх всего уснащает платонические разговоры о «братстве» прокисшим соусом националшовинизма... Он в бешеном экстазе оплевывает бога, которому только что поклонялся... И некому сказать ему при этом: послушайте, Говард Фаст, выпейте бутылку кока-кола... погуляйте по Бродвею... и, приведя нервы хотя бы в относительный порядок, поймите: в области художественного творчества вы человек не без таланта, но до титанов общественной мысли вам далековато... Меняйте себе партийный билет на чековую книжку Манхэттен банка и живите, как можете, не впадая в дешевку самопреувеличения... Но до Говарда Фаста... доводы разума дойти не могут... Он никогда сильным логическим мышлением не обладал»...

Что же произошло? Почему советская печать сменила свое отношение к писателю? Произошло то, что, пробыв тринадцать лет в рядах коммунистической партии США, Говард Фаст в 1957 году окончательно порвал с

интернациональным коммунизмом и вышел из партии... Коммунистическая диктатура, конечно, простить этого писателю не может. В результате — вчерашний «смелый борец за мир и демократию» стал сегодня «пошленьким моралистом», «марксистом с кадиллом».

Однако, как бы не издевалась «Литературная газета», настоящая книга убийственна для интернационального коммунизма. Она ярко освещает противоречия между человечностью с мечтой о светлом будущем человечества — и чудовищной бесчеловечностью коммунистической системы. Она отчетливо противопоставляет стремление к правде, справедливости и красоте — пустым, тупым и реакционным «политическим» причитаниям коммунистических вождей.

«Голый бог» — это, как говорят, «человеческий документ». Это искренний рассказ автора, не стремящегося к самооправданию, о своих политических делах и ошибках, о мучительных сомнениях — и о пути, который привел его к тому, что он «сжег все, чему поклонялся»...

Голый бог — это коммунизм, и автор убедительно рисует тот духовный и умственный процесс, который привел его к отказу от служения этому, в действительности, идолу. Следуя за автором, нельзя не прийти к выводу, что «коммунизм аморален и устарел». Но Говард Фаст говорит и много больше...

Для русского читателя книга особенно интересна, как анализ многих явлений жизни и литературы, связанных с Россией и Советским Союзом — анализ, данный бывшим коммунистом и американским писателем. Нет сомнения, что русский читатель согласится и с выводами книги.

Издательство ЦОПЭ приносит свою искреннюю благодарность автору и издательству Фредерик А. Прегер (Нью-Йорк) за предоставленное ему право издания книги на русском языке.

1.

С чего начать? . . . Подобные истории обыкновенно длятся всю жизнь и оканчиваются вместе с нею. Но даже и тогда находятся люди, которые подбирают оборвавшиеся нити и связывают их с первоисточником, почему-то неизбежно находящимся вне поля зрения, по ту сторону горизонта. Когда я бросаю взгляд в прошлое, одно воспоминание сменяется другим. Но, следуя наивной мудрости Луиса Каролла, всякий рассказ должен иметь начало.

Итак, начну с того, что я и родственные мне души поклонялись некоему богу, блистательные одеяния которого, как нам казалось, отражали его благородство. И никто из нас тогда не замечал, что в действительности этот бог вовсе не имел на себе одеяний и был страшен и отвратителен в своей неприкрашенной наготе. В сказке Андерсена простодушно говорится, что не замечают королевских одеяний только люди мелочные, некультурные, недостойные занимаемого ими положения. Так и в том мире, где я вращался. Миллионы хороших и умных людей были убеждены, что только утратившие честь, мужество и человеческое достоинство могут говорить, будто кумир, которому мы поклонялись, не имеет тех благородных пышных одежд, которые нам на нем представлялись. А кому же приятно прослыть не имеющим чести, мужества и человеческого достоинства?

В маленьком городе, где я жил, была небольшая, ничем не примечательная лавка, принадлежавшая одному старику. Старик этот был из числа тех, в чьих сердцах живет вечная печаль, незаживающая рана. Подобные раны многим хорошо известны. Двадцать лет назад сын этого старика, молодой энтузиаст, погиб в Испании, сражаясь в батальоне имени Линкольна за Испанскую республику и человеческую свободу. Двадцать лет прошло с тех пор, как его зарыли в далекой испанской земле, но боль в душе старика была так свежа, как будто это случилось вчера. Лишь одно утешение несколько смягчало боль: сознание, что сын погиб, сражаясь за освобождение человечества.

Но вот, в 1956 году, человек по имени Хрущев выступил с «секретным докладом». Он рассказал о России и о коммунистическом движении то, что и я и мои друзья слышали и раньше, но никогда этому не верили. Доказательства, представленные Хрущевым, заставили нас, однако, поверить тому, что в течение двадцати пяти лет мы считали клеветой.

Среди поверивших, а не поверить было невозможно, был также и старик, сын которого сложил свою голову в Испании. Однажды летом я зашел к нему в лавку. Он плакал.

— За что погиб мой сын? — спросил он меня.

Всю свою сознательную жизнь я утверждал и писал во всех своих книгах, что прообраз Сына Человеческого олицетворяет собой всех сыновей мира. И вот старик сказал мне, сказал не словами, а выражением глаз, ибо добрых людей разбитое сердце обыкновенно не делает ни жестокими, ни мстительными:

«То, что я, простой человек, не понял всего этого раньше, это не удивительно, но почему не понял этого ты, Говард Фаст? Ты, который говорил, писал и проповедывал в их пользу?»

Я сам не знаю, могу ли я на это ответить. Прежде всего, мне нужно найти отправную точку. Тогда, по мере сил и способностей, я попробую изложить то, что произошло, и объяснить, почему мы не замечали чудовищной наготы нашего кумира и убеждали себя и весь мир в том, что он облачен в роскошные одежды идеи и духа. Однако мое прошлое усложняет мне задачу. Оно так полно происшествиями, событиями и страстями, так запутано и так беспокоило, что на фоне еще более запутанных мировых событий, в обстановке которых делались мои личные крошечные усилия, представляется невозможным класть кирпич за кирпичем, как обязан делать хороший каменщик или писатель.

По этой причине я вряд-ли смогу дать систематическое и плавное изложение мыслей, идей и заключений, связанных с прошлым. В течение года, который прошел с тех пор, как остатки моей прежней веры окончательно развеялись прахом, я не смог найти какого либо, хотя бы только теоретического, оправдания тому, что происходило вокруг сотворенного нами кумира. Я прочитал, по крайней мере, полмиллиона слов, содержавших попытки такого оправдания, — начиная от примитивных и оскорбительных по своему идиотизму разъяснений, исходящих от людей в Кремле, старающихся культом личности объяснить потоки крови и страданий, и кончая красиво и изящно написанными фразами Хаймона Леви и британских марксистов. Но все, что я читал по этому поводу, имеет для меня меньше смысла и веса, чем единственная слеза, упавшая из глаз человека, доведенного пытками до сознания в преступлениях, которых он не совершал и о которых не помышлял.

В течение более чем двадцати лет моей жизни я основывал свое мировоззрение на учении тех, кому нравилось именовать себя марксистами. В конце концов, я начал понимать силу отчаяния, выраженного в словах самого Карла Маркса:

— «Я не марксист».

Ценные теории, являющиеся детищем науки, поддаются научной проверке. Но пытаясь объяснить и понять то немногое, что может быть отнесено к теории и культу коммунизма, мы должны с самого начала сказать, что в данном случае мы имеем дело не с разновидностью социальных наук и не с каким-либо видом научного мировоззрения; мы имеем дело с голым террором, бесчеловечной жестокостью и потрясающим невежеством.

Мы переживаем сейчас эпоху величайших сдвигов, эпоху борьбы людей и целых народов. Масштабы этих событий так грандиозны, что человек не в состоянии охватить их. Это отягчает мое положение. Я не в силах быть холодно-бесстрастным и игнорировать мой личный

опыт. А о моей жизни, о том, что я делал и чем я был, я не могу говорить без гнева, без стыда и без ненависти. Ведь унижение, через которое прошел я, выпало на долю не меня одного, а целого поколения пылкой и доблестной молодежи, мужчин и женщин, рвавшихся вперед, чтобы штурмом взять небеса. Осмотревшись, они увидели перед собой не светлый рай, а крошечный ад. Это относится ко всем тем, кто совершил взлет и в конце его увидел то, что может и должен видеть каждый коммунист. Никакая теория и никакая историческая объективность не могут заменить личного опыта.

Товарищ Кедров видел это, когда он жил, дышал, мечтал, боролся и штурмовал небеса. Я его не знал тогда, я не мог даже найти никаких данных, которые дали бы мне представление о его внешности, возрасте или характере. Я узнал о нем уже после того, как он лежал поверженным на достигнутых им «небесных высотах» и, созерцая раскрывшийся перед ним ад, обратился с последней мольбой к голому богу. Я узнал о нем, когда Хрущев поведал его историю 20-му съезду коммунистической партии Советского Союза. Вот что, по словам Хрущева, писал из советской тюрьмы перед смертью товарищ Кедров:

«Все», однако, имеет свои границы. Мои муки достигли предела. Мое здоровье подорвано. Силы оставляют меня. Конец все ближе и ближе. Умирать в советской тюрьме, заключенным, как подлый изменник родине, — что может быть более чудовищным для честного человека? И как все это действительно чудовищно! Мое сердце разрывается от безысходной горечи и боли. . .»

Представляет ли это собою завершение цикла, имеющего в себе и начало и конец? И подобно человеку, сбрасывающему с себя иго тирании, закончит-ли свой цикл и придет-ли к концу коммунизм в той форме, в какой мы его видим и познаем? Будет-ли ему воздвигнут памятник? Найдется-ли русский писатель, свободный от идеологического и духовного гнета, который посвятит свой рассказ мукам товарища Кедрова? Или товарищ Кедров будет забыт?

Но как можно его забыть? Разве в немногих сказанных им словах не заключаются весь смысл и значение происходящего? Он говорит так, как только может сказать коммунист, потому что он, как коммунист, заплатил за право сказать: «Как все это действительно чудовищно!»

Кедров жил и умер, как частица гигантского парадокса нашего времени. Он принимал участие в одной из наиболее ужасных драм, когда-либо разыгравшихся в истории человечества. Товарищ Кедров поддался обману не в результате сверхестественного наводнения, — он был обманут ничуть не больше, чем были обмануты я и мои товарищи, которые поддались тем-же иллюзиям и впали в те же заблуждения. Подчинив себя велениям чистого разума, товарищ Кедров был уничтожен его антитезой, но сам он сыграл роль в рождении этой антитезы.

Случившееся с ним легче выразить языком литературы, чем языком политики. В основе его личной драмы лежит тот исторический факт, что человек слишком много страдал, слишком много голодал, а светлое будущее оставалось для него недосыгаемо-далекой мечтой. Тогда он поверил, что ждать больше незачем, что манящих целей можно достигнуть одним порывом, — и вихрь этого порыва увлек его самого.

Мимолетное видение утопической мечты имело столь сильное влияние, что он, увлеченный им, потерял реальное представление о человечестве и своем месте в нем. Джон Донн хорошо сказал: «Никакой человек не может считать себя отдельным островом. . .» Это же выразил Сартр, — своей жизнью, подобной бушующему огненному потоку, и философией, посвященной проповеди ответственности человека перед самим собой. . . С товарищем Кедровым произошло то вечно новое и в то же время вечно старое, против чего Шекспир направил острие своей мудрой заповеди человеку:

«Будь верен самому себе. . .»

В наших мечтаниях, мечтаниях коммунистов, заключалось несомненное зло. Мы создали свое кредо, свой символ веры из наиболее благороднейших порывов и надежд человечества, но зло, которое мы несли, заключалось в том, что мы в нашем сознании и в нашей партийной жизни отказались от всех наиболее ценных достижений и свобод человечества. Пойдя на это, мы стали врагами человечества, а коммунистическая партия сделалась орудием предательства и уничтожения.

Мне хотелось бы знать, понял ли это товарищ Кедров хотя бы в тот последний момент, когда его волокли из тюрьмы на расстрел. Перед самым концом он писал:

«Ни партия, ни советское правительство не допустят этой страшной, непоправимой несправедливости».

Как он ошибался! Он утратил наиболее ценный дар — дар понимания, и поэтому он не осознал, что его страдания — страдания всех. В его мозгу не вмещалось мысли, что его страдания исходят от партии, и что это именно партия истязает его, та партия, которая превратилась в орудие разрушения.

В Советском Союзе никогда не было настоящего правительства, нет его там и сейчас. В Советском Союзе люди живут и умирают по воле и приказу партии. Тысячи и десятки тысяч таких, как товарищ Кедров, умирают и будут умирать.

Тем не менее, товарищу Кедрову должен быть воздвигнут памятник, как должен он быть поставлен каждому погибшему или ставшему жертвой тирании и деспотизма. Драма его жизни будет описана на страницах, которые следуют дальше. Его имя будет упомянуто многими тысячами других коммунистов, которые будут писать об этом до тех пор, пока весь мир через свои собственные страдания не осознает того, что личное достоинство каждого человека, кто бы он ни был, является прообразом и символом человеческого достоинства вообще.

2.

Я вступил в коммунистическую партию в 1943 году, но приобщился к ней впервые уже в 1930 году вместе с другими людьми моего поколения. В 1932 году я работал курьером в Харлемском отделении Нью-Йоркской Публичной Библиотеки. Это была одна из многих малоинтересных и плохо оплачиваемых работ, которые я должен был выполнять с одиннадцатилетнего возраста, понуждаемый к тому нуждой и бедностью. Тяжелые условия жизни лишили меня радостей детства, но это обстоятельство приобретает свое подлинное значение только в самом широком смысле. В течение долгих лет я был подавлен физической и умственной усталостью, той усталостью, которую так хорошо показал Джек Лондон, описывая жизнь обреченных детей.

Чтобы понять то, о чем я здесь говорю, читатель должен припомнить эпоху тридцатых годов и, кроме того, вникнуть в значение утраченного детства: явление, которое и до сих пор играет трагическую роль в жизни детей по всему миру. Тот факт, что мой заработок в то время составлял только двадцать пять центов в час, ничего еще не говорит, так как эти двадцать пять центов представляли собою ценность гораздо большую, чем это может показаться. Когда я покупал яблоки, которыми торговали на улицах люди много старше меня, потерявшие заработки, а часто и обеспеченность, создававшуюся годами, на фоне их трагического положения я остро чувствовал свой личный успех и удачу. Мне везло. Я всегда находил работу на несколько долларов — то-ли на фабрике, получая сорок центов в час, то-ли подметая снег, то-ли таская камни или исполняя мелкие поручения.

Был я высоким и сильным, с железной мускулатурой и несокрушимым духом юности, помогающим в борьбе за жизнь преодолевать трудные, жестокие и унижительные положения, на которые нас обрекает бедность. Я был дитя улицы и толпы, жалкий обитатель железнодорожных ночлежек и пустых закоулков. Я имел металлический каскет и пользовался им в том зверином мире, к которому принадлежал. Мне привычно было бить и быть битым. Заботиться о матери мне не пришлось, — она умерла задолго до всего этого. Мой отец — фабричный рабочий — часто и надолго оставался безработным. Это был стареющий человек, надломленный годами тяжелого труда. Работал он то на постройках, то в фабричных предприятиях, то кондуктором трамвая.

Друзей детства я растерял. Только немногие из них выжили физически и духовно, другие же закончили свою жизнь или на электрическом стуле, или от беспробудного пьянства — в тюрьме, или в дру-

гих подобных местах. До сих пор я не могу пройти мимо нищего, калеки или бездомного бродяги, просящего милостыню на тротуаре, чтобы не сказать самому себе:

«Возблагодари Господа, что это не ты!»

Мне легко найти объяснения моей личной удаче. С тех пор, как я себя помню, я был одержим одной страстью, которая владела мною всю жизнь. Я вошел в мир книг, читал все, что попадалось под руку, и может быть это спасло меня. В чтении я руководствовался не столько сознательным выбором, сколько простой и неутолимой жаждой чтения. Книга была для меня ценностью в самой себе. Я так же мало задумывался о достоинствах книги, как человек, страдающий от жажды, задумывается о качестве предложенной ему воды.

Много лет спустя, во время второй мировой войны, я лежал на полу самолета С—46, летевшего из Казабланки в Бенгази, и, как все другие пассажиры, дрожал от страха. Мы проходили через полосу ураганного ветра и электрических разрядов, а мотор нашего самолета работал с перебоями. Самолет вздрагивал и нырял. Небольшая группа, составлявшая наш военный отряд, притихла, подавленная чувством опасности и страхом гибели. Только один человек среди нас не выказывал ни малейшей тревоги. Страх у него отсутствовал, ибо душа его витала на более надежных крыльях, чем самолет, и эти крылья уносили его далеко от опасной реальности нашего положения.

Была ночь и в самолете было непроглядно темно. Только маленькая синяя лампочка светилась в потолке багажного отделения, где мы находились. Человек, о котором я говорю, был восемнадцатилетний юноша. Он стоял под лампочкой, одной рукой ухватившись за поручни, проходившие вдоль стены самолета; в другой руке он держал книгу, — одну из тех книг армейского издания, какую можно найти во всех военных библиотеках. Для этого человека не существовало ничего в мире, кроме захватывающей истории, описываемой в книге. И до конца полета он, не отрываясь, читал, застыв под лампочкой в неудобной позе.

Когда мы, наконец, опустились на аэродроме, я разыскал юношу, чтобы узнать, что могло его так зачаровать. Книга оказалась бульварным романом под заглавием «Дама в лисьих мехах». В данном случае важно было не содержание книги, а тот факт, что это была книга. Юноша этот, росший в маленьком поселке штата Теннесси, никогда до поступления в армию не прочел ни одной книги, хотя был грамотен. Вступление в армию открыло ему новый мир, в котором книги заняли доминирующее положение. Когда он вошел в мир книг, все остальное — и армия, и война, и связанные с нею опасности — перестало для него существовать. Я пытался выяснить, каким книгам он отдает предпочтение, но этот вопрос не имел для него значения. Он любил книги, все книги вообще . . .

Так было и со мной в те годы, когда моя жизнь состояла из тяжелой работы, нужды и голода. Я читал беллетристику, беря книги подряд, в том порядке, в каком они стояли на библиотечных полках — от «а» до «зет». Читал я и другие книги, по самым разнообразным вопросам, беря их с библиотечных полок тоже подряд, одну за другой. Не все из читаемого мог я понять или сопоставить с ранее прочитан-

ным, но у меня было ощущение, что я погрузился в прекрасный, сложный и изумительно привлекательный мир, который до сих пор был от меня скрыт.

Значительно позже, когда Александр Вулкот «открыл» мою книгу «Последняя граница» и она была принята американским «Клубом для чтения», где он был одним из рецензентов, я встретил этого большого раздражительного и злоязычного человека. Он сокрушался, что никто во всей нашей стране не знает таких ценных писателей, как Антон Троллоп. В ответ на мое скромное заявление, что я знаком с произведениями этого писателя, Вулкот обозвал меня лжецом.

«Что вы читали из Троллопа и почему читали?» — спросил он.

Я мог припомнить только две его вещи: «Тюремщик» и «Берчесторовские башни». На вопрос же, почему я их читал, я объяснил Вулкоту, что брал подряд все книги, стоявшие на библиотечных полках, и, дойдя до буквы «т», должен был прочитать и Троллопа.

Иногда я спрашиваю себя, было ли в моей жизни такое время, когда я сознательно не хотел бы быть писателем. Библиотекой, в которой я работал в 1932 году, заведывала отзывчивая и умная дама. Из сочувствия ко мне она читала мои рассказы, а особенно те места в них, которые отражали мою жизнь и опыт. Мне тогда казалось, что моя жизнь не представляет ни малейшего интереса для литературного творчества, и я изо всех сил старался подражать таким писателям, как Кабель или Роберт Стивенсон. Я был уверен, что мой жизненный опыт настолько низок и лишен литературного значения, что писать о нем совершенно нелепо. Я даже думал, что чем скорее забуду свое прошлое, тем будет лучше.

Дама из библиотеки впервые познакомила меня с коммунистической литературой и при соприкосновении с ней я как-бы прозрел. Впервые в моей жизни, на смену царившему в моем сознании хаосу, явилось нечто похожее на организованный порядок. Библиотекарша дала мне прочитать книгу Шоу: «Справочник интеллигентной женщины о социализме и капитализме». Я прочитал ее в одну ночь, и с тех пор Шоу навсегда стал моим кумиром и учителем.

Я не думаю, чтобы теперь, прочитав эту книгу, человек, кто бы он ни был, мог сделаться последователем социализма. Но теперь не 1932-й год, и вы, — это не я. Кроме того, теперь вы не увидите, как видел я тогда в моих скитаниях по Америке, молодых людей, странствовавших по стране без средств, без определенных занятий, пользуясь товарными поездами, как единственным доступным способом передвижения.

Я не принадлежал тогда к коммунистической партии. Борьба за существование и за будущее заполняла мою жизнь почти полностью. К сожалению, сутки имеют только двадцать четыре часа и известный минимум этого времени необходимо уделять на сон и работу. Чтобы учиться и писать, оставалось совсем мало времени. Но я поставил себе целью сделаться писателем или погибнуть. К этому периоду относится мое знакомство с американскими левыми кругами и коммунистической партией. Я посещал собрания в клубах Джона Рида, однако уходил оттуда с чувством досады и раздражения. До этого я не имел общения с подобного рода людьми и их разговоры, мышление и взгляды были для меня чуждыми и непонятными.

Постепенно я начал осознавать, что, быть может, мой собственный образ мышления и примитивный, вульгарный язык не соответствуют духу времени, и что в разговорах и спорах нужно пользоваться словами и мыслями, содержащимися в книгах. Я понял, что есть другой, неведомый мне до этого, мир, где борьба происходит при помощи идей, а не кулаков. Многому я тогда научился.

В течение долгих лет после этого мои взаимоотношения с коммунистической партией продолжали носить случайный характер. Только частично и неполно я входил в соприкосновение с нею, как и миллионы других людей во всем мире. Я заводил знакомства среди коммунистов, спорил и не соглашался с ними, покупал газету «Дэйли Воркер», иногда высмеивал ее, иногда с жадностью читал и снова высмеивал. В 1939 году, когда Советский Союз подписал договор с гитлеровской Германией, мы с женой, в порыве возмущения и негодования, порвали отношения с нашими друзьями коммунистами.

Я был антифашистом. Я был убежден в несовместимости гитлеризма и цивилизации. Приобщившись к цивилизации поздно и по сознательному выбору, я принимал культуру, искусство и литературу как драгоценнейшие дары, без которых жизнь невысказима. Мое личное возрождение было прямо связано с судьбой цивилизации, и поэтому я, как и многие люди моего поколения, жил надеждой на гибель фашизма.

В дни, когда Англия одиноко стояла в неравной борьбе с фашизмом, мои мысли и мои симпатии были с ней. Англия означала для меня не только Лондон, — город, в котором моя покойная мать провела свою молодость. Англия была для меня обетованной страной литературы, на поприще которой протекала моя жизнь и работа, была родиной Шелли и его песен, воспевавших свободу, как никто никогда не мог ее воспеть. Вместе с тем Англия в моем воображении соединялась с образом Святого Георгия, вступившего в единоборство с драконом ненависти и злобы, олицетворенным в Гитлере и фашизме. Пусть мои тогдашние представления были примитивными и я слишком легко делил все на белое и черное, — так или иначе, в Англии для меня было олицетворено человечество, и поэтому я не только порвал с коммунистами, но и стал относиться к ним с презрением и негодованием.

Однако... четыре года спустя это не остановило меня от вступления в коммунистическую партию. Я стал членом партии не потому, что считал возможным забыть и простить его (об этом было известно моим друзьям в партии). В основе моего решения лежало то, что я всем своим существом, душой и телом, стал неотъемлемой частью забываемого и ужасного исторического периода, который мы называем второй мировой войной. Я вступил в партию придя к заключению, что наиболее упорными и наиболее непримиримыми борцами против фашизма были коммунисты.

Я наблюдал, как многие писатели вступали в партию, но потом с горечью и разочарованием оставляли ее. Я наблюдал, как преданность партии сменялась у них ненавистью к ней. Но, тем не менее, я убеждал себя, что все это было в прошлом, что же касается будущего, то я должен действовать самостоятельно. Худо или хорошо, но в конечном счете ответственность за решение должна быть только моя. Так я делал всегда, так я поступил и в этом случае.

И вот я вступил в партию. Вступил я в нее, как писатель. В это время многие писатели делали то же самое. Возможно, что никто из людей свободных профессий не испытывал в такой мере внутренней необходимости откликнуться на исторические события, как это испытывали люди, посвятившие себя творческому труду писателя. Быть может, никто, кроме них, и не мог ярко откликнуться на проблемы и сомнения, возникавшие в душе людей нашего поколения. Свойственное всем людям стремление найти ответ на извечные вопросы тесно связано с методом мышления и анализа, присущим писателям, и является их неотъемлемым качеством. Я хочу этим подчеркнуть, что свобода мышления, которая для многих, может быть, является роскошью, для писателей представляет собой необходимость. Они не могут дышать без такой свободы и в этом для них заключается одновременно и трагедия, и счастье.

Итак, в 1943 году коммунисты казались мне наиболее непреклонными и наиболее решительными борцами за человеческую свободу. Разрушить это убеждение было не легко.

3.

В дальнейшем в этой книге я буду говорить детально о методе, посредством которого коммунистическая партия неизбежно уничтожает независимость, искусство и талант художников, ставших частью этой партии. Само собой разумеется, что это не самое важное из того, что партия разрушает. Но, хотя писатель и не находится под прямым ударом шторма, в центре его опустошительного действия, он, тем не менее, является наиболее точным барометром происходящего. Как в наше время можно довольно точно судить о характере различных социальных группировок по их отношению к евреям и к еврейскому вопросу вообще, так и на протяжении почти всей истории можно более или менее безошибочно судить о нравственном характере общества по его отношению к писателям своей эпохи.

В связи с этим, мне кажется необходимым довести до конца краткое изложение фактов моей жизни, которое, как я полагаю, является необходимым вступлением к сущности моих выводов и заключений.

Если кто-нибудь из моих читателей считает, что путем вступления в коммунистическую партию можно приобрести внутренний мир и покой, то он глубоко ошибается.

Суть дела заключается в том, что, вступая в партию, вы фактически продаете свою душу. Продаете ее якобы во имя спасения человечества. И убедив себя в том, вы решаете, что все остальное, включая утраченное чувство собственного достоинства, является мелким и ничтожным.

Партийные лозунги и догмы, несмотря на их обилие, отражают бесцветную и серую сущность идеологии. Партийные лозунги дают удобные шаблоны, заменяющие необходимость самостоятельного мышления. Но в них нет ничего, что могло бы вдохновить и зажечь свободную мысль. Одна из партийных догм говорит, что человек, входящий в партию, должен избавиться от «буржуазного багажа», который у него был до этого. В понятие такого «багажа» входят те свойства духа, которые признают независимость и свободу личности, — и поэтому все, что говорит об этих свойствах, считается недопустимым «недостатком пролетарского сознания». Все мое прошлое, как выходца из рабочего класса, прошедшего испытания нужды и голода, было недостаточным для того, чтобы сделать меня «пролетарием». Только постыдное отречение от духовной независимости могло доказать мою веру и открыть мне дорогу в партию.

Совершенно невозможно описать в деталях те духовные переживания и те мыслительные процессы, которые происходили во мне с мо-

мента моего вступления в партию в 1943 году и до 1957 года, когда я публично заявил о моем выходе из нее.

В противоположность товарищу Кедрову и сотням тысяч других, подобных ему, я был избавлен от необходимости пройти через муки и страдания, начинающиеся с одиночного заключения в тюрьме и кончающиеся расстрелом, только потому, что физически я не находился во власти коммунистической партии и мое проживание на территории, ей не подвластной, исключало возможность обычных для нее способов воздействия. Однако, невозможность прямого воздействия была восполнена более тонкими и изощренными способами воздействия. Физическая неуязвимость тела не исключает морального и духовного воздействия, — и для того, чтобы описать методы морального воздействия, которые применялись ко мне, потребовались бы целые томы, которые вряд ли были бы приятным и вдохновляющим чтением с точки зрения любого нормального человека.

Однако, общий характер такого рода воздействия может представлять интерес и я постараюсь его обрисовать.

В 1945 году я собирался отплыть из Калькутты в Соединенные Штаты. Прежде чем оставить Индию, у меня был длительный разговор с одним из лидеров индийской коммунистической партии. Он высказал соображения, что после войны Англия должна будет отказаться от владычества над Индией и просил меня передать его мнение Юджину Деннису, бывшему тогда генеральным секретарем партии в США. Он настаивал, что для коммунистической партии Соединенных Штатов исключительно важно быть осведомленной о предстоящих в Индии событиях.

Сущность его анализа в данный момент не представляет интереса, так как история жестоко посмеялась над ним, но, чтобы удовлетворить любопытство тех, кого это может интересовать, я хочу сказать, что он ошибся во всех своих предсказаниях, за исключением самого факта независимости Индии, но даже и тут он был неправ в отношении способа, каким независимость была достигнута.

Всего этого я не знал в 1945 году. Тогда мне было известно лишь то, что свое мнение он считал исключительно важным и хотел информировать о нем Денниса.

Я отнесся к этому вполне серьезно. Я попытался увидеться с Деннисом в первый же день моего приезда. Однако, Деннис оказался очень занятым. Я вернулся с театра военных действий, проделав пятнадцать тысяч миль. Я вернулся к моей семье, которую долго не видел, и тем не менее я постарался увидеться с ним в первый же день. Но он был слишком занят. Дни растягивались в недели, я добивался и просил, но Деннис был слишком занят. В конце концов, он нашел минуту для свидания со мной.

Я отправился на 12-ую улицу, на всем известный девятый этаж, откуда в те дни, когда коммунистическая партия пользовалась влиянием и силой, она управляла и распоряжалась своим аппаратом. Меня ввели в большой и очень импозантный кабинет, где Деннис сидел в величавом одиночестве. Когда я вошел, он приветствовал меня холодным и высокомерным кивком головы. Мне было предложено изложить сущ-

ность дела. Это заняло около десяти минут и, когда я кончил, Деннис сказал: «Очень хорошо, можете идти».

Я был ошеломлен. Я проехал пятнадцать тысяч миль. Я был свидетелем последней стадии ужасного голода в Бенгалии. Я интервьюировал людей, с которыми никакой другой американец не имел возможности говорить. Я видел события огромной социальной важности. К тому же в то время меня уже хорошо знали в Америке, как автора нескольких книг, завоевавших известность и, как писатель, я пользовался достаточным уважением и популярностью.

Однако, ничто из вышеуказанного не интересовало его. У него не было ко мне никаких вопросов. Он никогда не видел меня до этого, но не удостоил даже простой любезностью обычного приветствия. Он окончил аудиенцию нетерпеливым движением руки, как будто отбрасывал от себя кусок грязи.

Быть может, все это звучит мелко и незначительно. Конечно, мне и раньше неоднократно приходилось переносить и оскорбительное пренебрежение, и связанное с ним чувство горечи. Но ничего подобного в течение всей своей жизни я никогда не испытывал — вне коммунистической партии. Даже смотритель в тюрьме, где я отбывал наказание, как политический преступник, несколько лет спустя, не относился ко мне с таким убийственным пренебрежением. Смотритель тюрьмы, о котором я говорю, в сущности, был человеком сердечным, он относился ко мне и к другим заключенным гуманно и сочувственно. Только в коммунистической партии, только у коммунистических вождей, как показал и мой собственный опыт, и опыт многих других, можно встретить такое высокомерно пренебрежительное и презрительное отношение к людям вообще.

Непосредственно после случая, который я описал, я посетил моего старого друга Иосифа Норта. Его кабинет находился этажом ниже в помещении «Дэйли Воркер». Я рассказал ему о происшедшем. Он выслушал меня сочувственно и сказал, что то же самое случилось с ним в 1939 году, когда он вернулся из Испании, — только тогда коммунистическую партию возглавлял не Деннис, а другой партийный вождь.

— Но почему, скажи мне, почему, — спросил я его, — во главе этого движения должны стоять люди без души и сердца, которых не интересуют ни человеческие переживания, ни люди вообще.

Мой друг Норт не мог мне на это ничего ответить, он только пожал плечами. Другие объясняли мою чрезвычайную чувствительность наличием у меня остатков «буржуазного багажа». Много лет должно было пройти, прежде чем мы смогли осознать и объяснить (я постараюсь это сделать в моей книге) тот особый и страшный процесс, в результате которого возникают коммунистические вожди. Процесс, в результате которого в России появился Сталин, а за ним Хрущев; в Германии — Ульбрихт; в Венгрии — Ракоши; Георгий Дежа — в Румынии и много, много других.

Много лет должно было пройти, прежде чем мы смогли узнать то, что многим было давно известно. Мы узнали, что процессы Зиновьева, Бухарина и Троцкого, инсценированные для надувательства честных людей в мире, представляли собой органическую часть бюрократического аппарата террора. В результате образовалась бездна между вож-

дями, терявшими последние остатки человечности, и народом, который держали в повиновении при помощи убийств, насилия и страха. Долгие годы должны были пройти, чтобы мы сумели преодолеть те сдерживающие начала, которые заставляли нас оставаться в партии.

Познание истины давалось нам трудно. Процесс был тяжелый и медленный. Только тот, кто сам принадлежал к партии, может понять, почему мы оставались в ней так долго. Этому способствовала целая гамма чувств и переживаний. Здесь были и гордость, и страх, и надежда, и ненависть, и много других ощущений. Гордость не позволяла бежать из рядов партии, когда партия подвергалась преследованиям. Гордость рождалась из чувства ответственности за действия партии и ее вождей, потому что, каковы бы последние не были персонально, они были вождями нашего движения — и если они преследовались и попадали в тюрьму, то оставлять их было нечестно. Чувство стыда возникало, когда мы узнавали о людях, оставлявших ряды партии, когда мы слышали, как о них отзывались наши товарищи. Чувство страха возникало перед своими собственными переживаниями, перед укорами совести, которые последовали бы при оставлении партии в опасный для нее момент. Чувство надежды питалось мыслями, что со временем партия изменится. Нам приходилось считаться и с тем впечатлением, которое наш уход мог произвести на общественное мнение сочувствующего коммунизму мира, который не знал и не мог знать фактов, повлиявших на наше решение, и потому судил бы о нем превратно. Если хотите, в нас была известная доля упрямства, которое заставляло почти с ненавистью относиться к обстоятельствам, толкавшим нас на решительный шаг.

Все эти факторы имели свое значение и свое влияние. Они продолжали действовать, несмотря на то, что логика все больше и больше требовала от нас решительного шага. Некоторые моменты в этом процессе запечатлелись у меня особенно ясно. Я помню, как сейчас, тот день, когда румынский посланник пригласил на завтрак некоторых лиц, стоявших во главе коммунистического журнала «Мэйн Стрим». В своем шикарном дипломатическом лимузине он заехал за нами в нашу непривлекательную и бедную контору и повез в фешенебельный ресторан. Когда мы приехали и вошли в ресторан, то шофер посланника остался сидеть в машине. Мы были глупыми американцами, не знакомыми с тонкостями коммунистического этикета. Мы начали перешептываться, а потом спросили посланника, где же будет есть его шофер. Посланник заявил нам, что шофер — дисциплинированный коммунист, и что он будет сидеть в машине и ждать, пока мы не придем. Считая, что шофер такой же человек, как и мы, мы предложили, чтобы он позавтракал с нами. Румынский посланник пришел в ужас: как могла нам придти в голову такая нелепая и чудовищная мысль! Разве можно посадить шофера за один стол с дипломатом и с писателями, даже если эти писатели и выглядят обшарпанными, а шофер коммунист!

Это, конечно, мелочь, но она произвела на нас глубокое впечатление. Я помню, как мы с этим впечатлением боролись. Мы стремились затушить поднимавшиеся в нашей душе гнев и раздражение. Разве этот человек не был доверенным посланником социалистической страны? Мы долго не могли избавиться от неприятного и удручающего впе-

чатления. С годами это впечатление усилилось и сделалось еще более удручающим, когда к нему присоединились рассказы об антисемитизме, нечеловеческом терроре, расстрелах и истязаниях в социалистической Румынии.

Годы шли, и сила логических доводов в защиту партии все слабела и слабела. И чем больше я оглядывался назад, тем труднее и труднее становилось для меня найти оправдание перед самим собой, оправдание той роли, которую я играл.

4.

Несмотря на все это, я не покинул партии. Мало того, я сказал себе, что обязан бороться с описанным мною злом, должен пропагандировать мои собственные идеи относительно того, что должна собою партия представлять и какую роль она должна играть. «Деннис — это не партия», — говорил я себе. Но чем больше проходило времени, тем длиннее становился список с именами людей, как Деннис. «Они — не партия», — говорил я, говорили мы, говорили тысячи и сотни тысяч рядовых коммунистов, подобных мне. В свое время мы присоединились к партии сознательно, по зрелом обсуждении, и поэтому мы не оставляли ее под влиянием личных обид, оскорблений и нанесенных нам ран. Я даже заставил себя презирать тех, кто уходил из партии под влиянием обид. Они — слабые духом, — говорил я себе.

С течением времени такой образ мыслей начал давать свои результаты.

Почти сознательно я начал смиряться с создавшимся положением, с тем, что разнообразные факторы не давали мне возможности уйти из партии. Я не утверждал повсюду, что я коммунист, но я и не отрицал этого. Я выступал везде, где меня просили. Я подписывал петиции, подписывал их сотни. Я работал в различных комитетах.

Чем дольше продолжался этот процесс, тем болезненней я его переживал, но и тем труднее становилось для меня порвать с партией. Тогда я еще не мог проанализировать моего положения. Я еще не понимал всего. Я знал только одно, что, с момента моего вступления в партию, я всегда находился на грани неверия в ее идеалы. Но так как мне казалось, что партия олицетворяет собою борьбу добра со злом, я не находил в себе силы ей изменить. Это была основная причина, побуждавшая меня все теснее и теснее связывать себя с коммунистическим движением. Это заставило меня в Пикскилле кулаками защищать себя и моих товарищей. Был момент во время этого ожесточенного кулачного боя, когда мне казалось, что я погибаю. И я почти приветствовал смерть.

Это единственная мысль, которая не вызвала тогда в моем мозгу сомнений и колебаний. Остальное представлялось мне чудовищным кошмаром.

Я попал в тюрьму. Когда я из нее вышел, я жил в постоянном страхе. Страх преследовал меня днем и ночью. Чувство страха наполняло всю мою жизнь, все мое существование. Я был загипнотизирован страхом — и не в состоянии освободиться от власти этой сверхъестественной силы, вошедшей в мою жизнь. Я боялся ареста, боялся физического на-

силія. Боялся за судьбу своих детей. Боялся, что какой-нибудь провокатор напишет на меня ложный донос. Боялся того, что доносы могут очернить меня в глазах партии. Боялся, что меня могут из нея исключить. Боялся, что доносы могут лишить меня возможности сделаться в будущем одним из вождей партии и что, таким образом, я буду выброшен из того единственного мира, который я считал своим.

Я снова и снова рисковал своей жизнью, стремясь доказать, что та чудовищная ложь, которая мне была хорошо известна, на самом деле не является ложью, что она — высшая цель, за которую стоит умереть. Я делал все, что от меня требовалось. Я пожертвовал тысячи долларов. Я написал книгу о событиях в Пикскилле и все доходы от продажи книги пожертвовал Конгрессу гражданских прав. Но когда эта книга продавалась на собраниях, люди шептали, будто я наживаюсь на продаже ее. Когда мне пришлось самому издавать свои книги, я в буквальном смысле слова, до последней копейки истратил все свои сбережения и сбережения моей семьи, которые я скопил за годы моего писательского успеха. И несмотря на это, меня преследовала молва, что я наживаюсь. Я считал своей обязанностью издать труды других коммунистов, занесенных на черную доску, и это опять стоило мне тысячи долларов. И опять меня обвиняли в обогащении.

Во время финансовых затруднений, которые то и дело возникали в партии, ко мне неоднократно обращались за денежной помощью и я бегал, высунув язык, стараясь раздобыть нужные деньги. Я униженно кланялся богачам, на сочувствие которых мог рассчитывать. Выслушивал их ругательства и проклятия по адресу партии, на которые они не скупились, как не скупятся на них сейчас — уже по моему адресу, узнав, что я ушел из партии. Я выслушивал оскорбления, терпел высокомерную наглость — для того, чтобы получить пять-десять долларов для партии. Зачастую мне приходилось лгать партийным лидерам относительно успеха моей миссии, чтобы не выслушивать ругательств и оскорблений уже от них. И я вынимал из своего кармана последние гроши и отдавал их партии.

Несмотря на все, я все-таки не покидал партии. Я продолжал цепляться за потускневший, но еще сохранивший обаяние мираж справедливости и равенства. Однако, ни этот процесс, ни мое к нему отношение не могли продолжаться бесконечно. Наступил день, когда я прочитал слова Никиты Хрущева. Как бесконечно благодарен я ему за это! Я, наконец, мог освободиться. Наступило пробуждение. Страх перестал существовать. Остались только отвращение и горечь.

Я покинул коммунистическую партию, я проснулся от длительного и ужасного кошмара. Однако, должны были пройти еще месяцы, прежде чем я мог решиться написать о сущности этого кошмара. Месяцы должны были пройти, прежде чем я был в состоянии с нужной объективностью сказать самому себе:

«Мой долг описать без прикрас всю чудовищную уродливость и наготу того нечестивого идола, которому я поклонялся, как божеству, — чтобы новое поколение моей страны не было так обмануто, как были обмануты мы, и не переживало бы тех мук и страданий, на которые были обречены мы, избравшие коммунизм, как дорогу к светлому будущему».

5.

Читая эти строки, вы можете спросить, к чему я веду? Меня спрашивали об этом тысячу раз. Отличительной чертой людей действенного добра, по моему мнению, является уверенность в том, что наше короткое пребывание на земле — это путь, посвященный осуществлению высшего добра в одной из его многочисленных форм. Поэтому, первенствующее значение имеет конечная цель пути. Когда эта цель определяется верой, находятся люди, стремящиеся поколебать веру утверждением, что цель нашего жизненного пути не так важна, как тот самый специфический путь, который к ней ведет.

Для меня, однако, конечная цель жизни продолжает оставаться неизменной. Цель эта — полное братство людей, мировое единство любви и творчества, в котором человеческая жизнь не растрачивалась бы по пустому.

Для многих из нас путем, ведущим к этой цели, была коммунистическая партия. И для слишком многих из нас путь этот стал важнее, чем его конечная цель. Постепенно путь превратился в нечто священное и самодовлеющее, тогда как цель, к которой он вел, все больше и больше теряла свои очертания и становилась расплывчатой и нерезкой.

В моем сознании есть вещи, которые я считаю священными, но коммунистическая партия в их число никогда не входила. Я верю в то, что жизнь человеческая священна и не менее священны человеческие мечты, порывы и замечательные достижения. Я считаю священным каждый человеческий шаг на пути к свободе, справедливости и равенству. И я приветствую прогресс человечества, потому что он отдаляет человечество от мрака невежества, суеверия и рабства. Но, с моей точки зрения, нет и не может быть ничего священного в тех внешних формах поведения человека, которым он следует или которые налагают на него необходимость.

В дальнейшем я хочу описать один конкретный случай. Я хочу рассказать об опыте писателя, состоявшего в коммунистической партии Соединенных Штатов и, следовательно, являвшегося участником мирового коммунистического движения. Это — не повесть о разочаровании, потому что расширение знаний и углубление опыта только способствуют освобождению от иллюзий. Нет у меня и горечи. Если я и многие другие дорого заплатили за приобретенное знание, то надо помнить, что никакое знание не дается дешево и что другим оно достается еще дороже.

Многое из того, о чем я буду писать, вызовет гнев и негодование

различных людей и некоторые из них будут считать, что о такого рода вещах лучше не говорить. Но для меня единственным критерием того, о чем должно или не должно говорить, является правда. Исходя из этого, я постараюсь быть максимально правдивым.

Я не сомневаюсь, что мои утверждения будут оспариваться. Зачастую в своем изложении я полагаюсь исключительно на память, но память несовершенна. Однако я могу сказать, что самым тщательным образом старался избегать каких бы то ни было искажений.

Я считаю необходимым указать причины, побудившие меня издать эту книгу, ибо несомненно, что этот вопрос будет поднят многими. С того момента, когда я прочитал секретный доклад Хрущева, я пришел к заключению, которое явилось следствием его разоблачений и правильность которого была подтверждена последующими событиями. Я убедился, что коммунистическая партия в ее теперешнем виде должна прекратить свое существование. Я знаю, что, если его рассматривать в мировом масштабе, это предложение является нереальным, — хотя целый ряд сил и факторов начинают уже действовать в этом направлении. Ведь вопрос потребует разрешения во всех странах земного шара и в каждой из них будет разрешен в зависимости от характера, воли и способностей народа данной страны.

В Америке, однако, положение особое. Благодаря особому историческому опыту и живой памяти о прошлом народа, предложение о самоликвидации коммунистической партии Соединенных Штатов, сделанное в июне 1956 года, т. е. тогда, когда судьба подарила нам секретный доклад Хрущева, было бы вполне целесообразно. Сотни влиятельных американских коммунистов, хотя и с болью в сердце, но вполне искренне пришли к этому заключению. Многие из них заявили об этом во всеуслышание, другие поднимали и обсуждали этот вопрос внутри партии.

Такой же позиции придерживался и я. Я верил, что только путем честного признания перед американским народом и перед всем миром того, что происходит, компартия может сохранить то, что мы все бережно старались сохранить, — а именно ее честь. Я всегда считал и продолжаю считать, что мы, рядовые члены партии, были и остались честными людьми. Я полагаю, что история обязывает нас заявить следующее:

«У нас были благородные мечты и стремления, по мере наших сил мы старались достигнуть осуществления наших целей и наших мечтаний, мы никогда им не изменяли. Однако теперь, в виду того, что бесспорно и несомненно мы являемся частью широкого международного движения, мы должны сделать переоценку самим себе и своим действиям. И, поставив себе эту задачу, мы заявляем: неопровержимые данные, которые мы теперь получили, показывают, что все, что мы делали раньше и во что искренне верили до сих пор, было коренной и роковой ошибкой. . .»

Только это одно могло спасти нашу честь и наше достоинство. Мы должны были мужественно и всеуслышание объявить о полном своем провале и о своей несостоятельности. Мы должны были предупредить американский народ и народы всего мира о той страшной опасности, которая заключается в нашей организации и которая является не-

отъемлемо присущей коммунистической партии вообще. После этого мы должны были бы распустить нашу партию раз и навсегда. Простая вера в американский народ и в американский рабочий класс должна была бы убедить нас в том, что, поступая таким образом, мы не только не ослабим борьбы за американскую демократию и за общественный прогресс, но, наоборот, усилим ее.

Теперь, оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что если бы партийный съезд состоялся именно тогда, в июне 1956 года — партия была бы ликвидирована.

Путем всевозможных уловок, маневров и трюков руководству партии удалось, однако, оттянуть созыв съезда до тех пор, пока уход из партии людей, не потерявших совести, не обеспечил им победы. Таким образом, руководители партии смогли продолжить свою «деловую лавочку».

По моему глубокому убеждению, коммунистическая партия Соединенных Штатов, упустив указанную возможность, раз и навсегда потеряла право претендовать на то, что она обладает честью и достоинством. И если мой скромный труд поможет мне убедить кого-либо, кто еще поддерживает партию, в том, что партия, как таковая, перестала идти в ногу с историей, — это одно послужит достаточным оправданием моего труда.

Я не думаю, чтобы коммунистическую партию, где бы она ни была, можно уничтожить силой. Коммунистическая партия отражает собой идею, а с идеями нельзя бороться силой. Этот факт нужно понять и оценить. Идеи должны подвергаться испытаниям в горниле правды, — и я не верю тому, чтобы коммунистическая партия и ее идеология могли бы устоять перед разрушительным столкновением с реальными фактами и истиной.

6.

Я имел весьма любопытную возможность быть свидетелем своих собственных похорон и познать на опыте ту раздвоенность в чувствах, когда человек в одно и то же время ощущает бытие и небытие. Вдобавок выяснилось, что я и вообще не существовал. Все это произошло следующим образом.

Утром 31 января 1957 года в моей конторе раздался телефонный звонок и Харри Шварц из газеты «Нью-Йорк Таймс» сообщил мне, что в только что вышедшем номере журнала «Фортуна» он прочитал о моем выходе из коммунистической партии Соединенных Штатов. — Так ли это? — спросил он меня. Я ответил, что — верно.

Этот номер «Фортуны» был посвящен коммунистической партии и Советскому Союзу. Подготавливая к выпуску специальный номер, сотрудники журнала проинтервьюировали членов редакции газеты «Дэйли Воркер», в том числе Джона Гейтса и меня. Во время длительных и обстоятельных разговоров, которые мы с ними вели, один из корреспондентов спросил меня, состою ли я в настоящее время членом партии. Я твердо ответил, что не состою. Свою последнюю статью для газеты «Дэйли Воркер» я написал в июне 1956 года, а месяц спустя поставил в известность некоторых из моих партийных сотрудников, что впредь я считаю себя выбывшим из партии и потому свободным от подчинения партийной дисциплине в какой бы то ни было форме. Фактически же я перестал платить членские взносы и выполнять партийные поручения более чем за год до этого. Когда же сотрудник журнала «Фортуна» попытался уточнить мое заявление о выходе из партии, желая установить дату моего с ней разрыва, я сказал, что сделать это почти невозможно, да и вряд ли имеет какой-либо смысл, так как без публичного заявления факт этот теряет свое значение. Он согласился, что лучше будет просто упомянуть, что я больше не вхожу в состав партии.

Мне казалось, что это ни для кого не окажется новостью. За несколько месяцев до этого, а именно 12 июня 1956 года, в моей последней статье, помещенной в газете «Дэйли Воркер», я писал по поводу секретного доклада Хрущева 20-му съезду коммунистической партии Советского Союза:

«Этот странный и страшный доклад не имеет прецедента в истории. Он перечисляет такие факты варварства и трусливой кровожадности, которые навсегда останутся позорным воспоминанием для каждого цивилизованного человека».

Язык моей статьи был ясен, как ясно было и мое отношение ко всему происшедшему. Тем не менее, когда появился номер «Фортуны»,

в котором было опубликовано сообщение о моем выходе из партии, я узнал, что оно произвело сенсацию. Газета «Нью-Йорк Таймс» просила меня дать специальное интервью.

Сначала я от этого отказался, заявив, что мне абсолютно нечего больше сказать по этому поводу: я больше не член партии, и это все. Шварц, однако, говорил, что, независимо от моего отношения к вопросу, пресса заинтересована получить мою версию; в противном случае журналисты напишут то, что им взбредет на ум. Он пообещал, что в «Нью-Йорк Таймс» текст моего интервью будет напечатан без всяких добавлений. Я попросил, чтобы текст заранее был представлен мне на одобрение и чтобы я был в состоянии прокорректировать его. Шварц обещал поговорить с редактором и через полчаса сообщил о согласии редактора на мои условия.

Так кончилось мое пребывание в партии и одновременно на одной шестой земного шара вычеркнули даже самый факт моего существования в прошлом. Я указываю на это обстоятельство потому, что по своей важности оно далеко переходит значение сделанного мною публичного заявления. Я отлично знал репутацию Харри Шварца, как специалиста по советским делам, враждебного Советскому Союзу, и сам в прошлом неоднократно жестоко на него нападал. Но поскольку сообщение о моем разрыве с партией должно было принять форму публичного заявления, переданного в моем интервью, — мне было совершенно безразлично, подпишет статью Шварц или кто-нибудь другой. Я должен сказать, что газета «Нью-Йорк Таймс» сдержала слово полностью.

Свое мнение в этом вопросе я не изменил ни на йоту. Озлобленные нападки, посыпавшиеся на меня после опубликования интервью, были вызваны не столько содержанием самого интервью, сколько тем, что в нем принимал участие Шварц. Некоторые советские писатели с гневом обрушились на меня не за то, что я сказал, а за то, что я сказал это определенному газетному корреспонденту. Ибо в этом-то и заключается, и этим символизируется вся трагедия мирового коммунистического движения: фанатическая преданность форме, слепое послушание догме и неспособность оценить важность конечной цели. Быть может лучше всего коммунист-фанатик определяется как человек, потерявший из вида то, во имя чего он борется, и всецело посвятивший себя служению средствам борьбы, как самоцели.

До опубликования моего интервью, в Советском Союзе я был в таком почете, который выпадал на долю лишь немногих русских или иностранных писателей. Мои книги печатались и продавались в СССР в миллионах экземпляров. Только одно первое издание «Голгофы Сакко и Ванцетти» вышло тиражом в полмиллиона экземпляров. В советских театрах были поставлены две моих пьесы и два произведения переделаны для сцены. На тему одного из моих романов было составлено либретто для оперы. О моих литературных трудах были написаны десятки критических статей. Мне были посвящены целых два тома критических очерков. Советские критики и читатели горячо и, я сказал бы, даже восторженно восхваляли меня и мои книги. Оценки и похвалы далеко превосходили действительные достоинства моих трудов, однако это вовсе не значит, что похвалы мне неприятны. Я не

знаю ни одного писателя, который был бы настолько беспристрастен, чтобы преувеличенные похвалы не льстили ему и не принимались им с удовольствием.

В течение ряда лет у меня образовалась обширная переписка с людьми, разбросанными по всему земному шару. Мою жизнь и поведение, как коммуниста, я не скрывал ни от кого. Я считал, что конспирация и скрытность унижительны, и поэтому я писал всем, кому хотелось. Таким образом, у меня завязалась большая переписка по поводу моих литературных трудов с советскими гражданами. Не проходило недели, чтобы я не получал нескольких писем от советских студентов, детей, учителей, рабочих, критиков, инженеров, ученых. В этих письмах мне сообщали, что понравилось в моих книгах.

Воздушная почта из Советского Союза в Америку идет два-три дня. Интервью, в котором сообщалось о моем разрыве с коммунистической партией, появилось 1 февраля 1957 года. 4 февраля того же года мною были получены последние письма из Советского Союза. Исключение составили лишь два официальных письма, полученных мною от Союза Советских Писателей. О них я скажу особо. Другими словами, с того дня, как в Советском Союзе стало известно о моем выходе из партии, моя связь с советским населением закончилась. Дверь была захлопнута. И тот железный занавес, существование которого я раньше горячо отрицал, опустился между мной и СССР. Советское почтовое ведомство систематически перехватывало все адресованные мне письма. Это делалось по приказанию свыше, так как в то время в Советском Союзе никто еще, за исключением высших партийных бюрократов, не знал и не мог знать о том, что произошло в судьбе Говарда Фаста. В течение следующих семи месяцев во всей советской печати нигде, ни единым словом, не было упомянуто ни о моем интервью с «Нью-Йорк Таймс», ни о моем заявлении с обоснованием выхода из партии, которое было напечатано в левом американском журнале «Мэйн Стрим».

С 1 февраля 1957 года для одной шестой части земного шара я попросту перестал существовать, полностью прекратились и упоминания обо мне, о моей прошлой деятельности и жизни. Получилось так, будто я не только перестал существовать, но и вообще никогда не существовал. Моя пьеса под названием «Генерал Вашингтон и русалка» шла в это время в московском театре Советской Армии. Спектакли продолжались, но никаких упоминаний о пьесе больше не было. Читатели продолжали читать миллионы моих книг, но их автор исчез из жизни и из памяти. Таким образом тактика, усвоенная Советским Союзом в отношении меня, заключалась в том, что я, целиком и полностью, был предан забвению и, вместо гнева, нападок, споров или опровержений, надо мной повисло гробовое молчание. Я больше не существовал.

Вникните во все это и вам станут ясными, хотя бы частично, те переживания, которые я испытывал в то время. Я приготовился ко всему, чему угодно, но только не к этому. Я ожидал яростных попыток меня переубедить, я приготовился к насмешкам. Я считал возможной и более сдержанную реакцию; что-нибудь в этом роде: «В конце концов, Фаст имеет право поступать, как он хочет. Мы должны судить о нем

по его делам, а не по принадлежности к той или иной организации. Это его право — выйти или оставаться в коммунистической партии».

Вместо этого все, что касалось меня, все вопросы, связанные со мной, раз и навсегда были изъяты из обихода. Однако то, что я перестал существовать в одном мире, послужило толчком к моему пробуждению в другом. Вот уже больше года прошло с тех пор, как произошло описанное мною событие, но я все еще испытываю ощущение человека, проснувшегося от глубокого и тяжелого кошмара. И после долгих лет я, наконец, нашел то, что мне кажется наивысшей ценностью человеческой жизни — я нашел самого себя. Я вновь обрел мою личную свободу. Я вновь обрел право действовать в согласии с моей собственной совестью. Я вновь получил возможность быть правым или ошибаться, заблуждаться или просто делать глупости. Вместе с этим я приобрел право думать, мечтать и надеяться так, как я хочу. Я больше никогда не буду вынужден хранить молчание, когда вижу несправедливость и зло. Я не знаю ничего другого, что могло бы сравниться с подобным ощущением...

7.

Ко всему вышесказанному, я хочу сделать еще небольшое добавление. То был момент сурового решения, когда я навеки перестал быть коммунистом и отказался от навязанного мне молчания, зная, что я обязан говорить. Я не буду называть имен, не буду упоминать людей, если они могут от этого пострадать. Я постараюсь, чтобы сообщаемые мной сведения не могли послужить во вред даже тем людям, которые были участниками моего повествования. Однако, когда я решил сказать правду обо всем, что я знал, для меня возникла настоятельная необходимость упомянуть об одном таком человеке, — а именно его я не могу назвать, ибо это грозит ему смертью. И я никогда не скажу, кто он был; я не назову даже страны, которую он представляет. Читатель должен верить мне на слово. Для него будет ясен тип. Я назову его дипломатом.

Я говорил уже о моей статье, опубликованной в «Дэйли Воркер» в июне 1956 года, а также о том, что о моем выходе из коммунистической партии было сообщено в феврале 1957 года. Статья заключала в себе острые и горькие истины по поводу отсутствия в Советском Союзе гражданских прав и свобод. В течение времени, прошедшего со дня опубликования этой статьи до момента моего официального выхода из партии, многие дипломаты и журналисты из так называемых стран-сателлитов старались войти со мной в контакт и побеседовать. Некоторые из них принадлежали к числу очень высокопоставленных лиц дипломатического корпуса их стран. И вот — потому что я написал эту статью, потому что мое имя пользовалось определенным престижем, потому что в прошлом я открыто стоял на стороне антисталинских элементов американской компартии, — эти люди чувствовали себя в разговоре со мной свободно.

Они были со мной откровенны. Они раскрыли перед моими глазами картины такого террора, такой несправедливости и такого тяжелого кошмара, что в сравнении с ними секретный доклад Хрущева казался только скромным наброском всей той действительности, которая, вероятно, никогда и никем не будет раскрыта полностью. Одни из них говорили холодно и спокойно, другие взволнованно и с состраданием, а третьи дышали ненавистью ко всему, о чем они рассказывали. Некоторые из них даже плакали. Кое кто из них присутствовал при последних минутах дорогих им друзей и товарищей, замученных советской секретной полицией: людей истязали и избивали до тех пор, пока они не лишались всего, что в них было человеческого. Некоторые из моих собеседников говорили: «Мы научились ждать. Моя страна не

будет второй Венгрией». Другие: «Мы будем ждать и ждать, история умеет быть правдивой».

Один из них говорил спокойно и сдержанно. Он ни разу не высил голоса. Он говорил со мной за завтраком в ресторане таким простым тоном, как обыкновенно говорят о погоде. Он говорил так тихо и так просто, что ему нельзя было не поверить. Он говорил о том чувстве страха, которое висит над его страной. Он говорил о власти невежества, о проклятиях, преследовавших тех, кто имел мужество выражать свое собственное мнение. Он рассказывал о том, как живут коммунистические вожди, управляющие его страной. Он рассказывал об их шикарных лимузинах, их прислуге, их дачах, об их увешанных драгоценностями женах, любовницах, об их страстях. Он говорил о крохах, достающихся народу. И потому что он был еврей, он говорил об антисемитизме. И особенно ужасно было то, что говорил о ненависти к евреям, как о факте, с которым я лично должен быть хорошо знаком.

Когда я ему объяснил, что в этом деле не имею личного опыта и с вопросом познакомился только недавно и лишь постольку, поскольку это касалось Советского Союза и стран, именующих себя «социалистическими», мое заявление одновременно и удивило, и смутило его. Очевидно для этого у него были достаточные основания.

Как бы то ни было, если сказанное этим дипломатом и было тогда для меня новым, сейчас оно не составляет больше новости для многих. Кое-что из услышанного мною я хотел бы привести здесь, но не могу этого сделать, потому что, когда мы встали из-за стола, мой собеседник проговорил:

«Мне стыдно за то, что я сейчас хочу вам сказать, потому что этим я выказываю вам недоверие. Однако, я должен это сделать, если не ради себя, то ради моей жены и детей. Я должен вам сказать, господин Фаст, что если бы члены моей делегации узнали не о том даже, что я вам рассказал, а просто о том, что я встретился с вами наедине, по возвращении на родину я был бы арестован и почти наверное убит. Я, повторяю, прошу не за себя, а за мою жену и детей. Женщине и детям, одним, трудно сейчас существовать в моей стране и поверьте, что им без меня прожить труднее, чем мне отказаться от жизни».

Таким образом мы оба поняли, из чего были сотканы наши мечты. Если мне, с Божьей помощью, дана была возможность изменить свой путь, ему это не было дано. Я мог оставить коммунистическую партию и продолжать жить — для него же это являлось невозможным. В результате, этот безымянный дипломат в моей книге становится чем-то вроде духа или призрака. Здесь я пишу о его мучениях, по сравнению с которыми мои собственные переживания и страдания кажутся незначительными и неважными.

8.

Некоторые антикоммунистические группы в Америке стараются придать характер таинственности тем причинам, которые побуждают людей вступать в коммунистическую партию. Но еще более загадочным является — почему люди уходят из партии, когда они решаются на этот шаг. Вопрос этот является особенно уместным и естественным в тех случаях, когда из партии уходит интеллигент. Рабочий обыкновенно покидает партию молча, он просто выходит из состава ее членов, — в то время как интеллигент часто выступает с декларацией, объясняющей его уход.

Компартия, утверждая, что только она одна проводит марксистскую теорию на практике, обращается к двум слоям современного общества: рабочие и интеллигенция. Рабочие воспринимают марксизм в свете своей непосредственной борьбы и своих нужд. Интеллигент воспринимает марксизм потому, что он ищет путей к пониманию бытия и правды; без этого понимания он чувствует себя опустошенным, не имеющим цели жизни. Я не собираюсь оспаривать достоинств марксизма, как учения; я пытаюсь только объяснить марксизм, как действительную силу. Коммерсант, адвокат, доктор — могут стать или не стать марксистами; для них и для их личной жизни и деятельности это не имеет значения. Совсем другое дело — студенты, артисты и писатели: для них очень часто это вопрос первостепенной важности.

Это не просто проявление протеста молодежи. Протест может проявляться в самых различных формах — в форме преступности, наркомании, сумасшедшей езде в открытых автомобилях, в форме бессмысленного пренебрежения по отношению к взрослым, пьянства и так далее. Молодежь, обращающаяся к марксизму, делает это потому, что она восстает против современного общества. Ей кажется, что общество потворствует мраку, вместо того, чтобы содействовать просвещению. Молодежь выступает против невежества, догматизма, религиозных предрассудков и явных нелепостей в человеческих взаимоотношениях. Тот факт, что коммунистическая партия создала и навязывает свою собственную догму, не противоречит сказанному выше. Но в то же время и не объясняет, почему в партии так много беспокойных, интеллигентных и пытливых интеллигентов.

Нельзя ставить знак равенства между коммунистической партией и марксизмом. Правда, партия исповедует марксизм, как свою собственную философию, но она в то же время искажает и суживает его идеологию. Коммунистическая партия действует так же разлагающе на марксизм, как и на членов своей собственной организации.

Я присоединился к левому движению потому, что я испытал нужду, голод и разочарования тридцатых годов. Я присоединился к партии, выйдя из рабочей среды. В коммунистическую партию я вступил в 1943 году, считая, что мои принципы не должны расходиться с моими действиями. В то время мне казалось, что мое будущее, как писателя, этого требует и я думал, что я продолжаю свою деятельность в согласии с теми традициями, которые легли в основу моего мировоззрения. В то время я не замечал, что фактически все дальше и дальше от них отхожу. Раньше я был одинок. В лучшем случае я был товарищем других людей по той опустошенности, в которой мы все обретались. Вступив в партию, я почувствовал, что стал частью организации, посвятившей себя тому, чтобы положить конец войнам, несправедливости, голоду и человеческим страданиям, — организации, конечная цель которой — всеобщее братство.

Через тринадцать лет после этого по приказу одного человека в Москве были закрыты все двери громадного зала и коммунистам собравшимся в нем на 20-й съезд партии, был прочитан секретный доклад о действиях вождей партии в течение последних тридцати лет. Этот доклад недолго оставался секретным. Он произвел впечатление разорвавшейся бомбы, когда мир узнал о его содержании. В нем заключался ужасающий, почти невероятный отчет о зверствах, жестокостях и убийствах, совершенных людьми и по своей бесчеловечности превосходивших все, когда-либо содеянное в XX веке. Я не хотел бы делать сравнений, ибо наша эпоха весьма далека от гуманного отношения к людям, а потому подчеркиваю, что имею в виду лишь факты, приведенные в самом докладе. Это устраняет возможность делать сравнения между теми зверствами, которые допускались и практиковались в Советском Союзе, и деяниями, совершавшимися где-либо в другом месте. Секретный доклад Хрущева представляет собой перечень ужасных преступлений и этот перечень составлен людьми, которые принимали в них участие. В этом смысле доклад является документом единственным в своем роде.

С появлением Хрущевского секретного доклада, то величественное здание, в созидание которого я включился тринадцать лет назад, рассыпалось в прах. Мною овладели отвращение и безнадежность.

Со дня появления этого доклада были сделаны тысячи попыток дать политическое обоснование тому, что произошло. Некоторые из них делались искренними людьми, разочаровавшимися в коммунизме. Они пролили много света на все обстоятельства этого дела. И все-таки я иногда думаю, что случай сам по себе может оказаться не менее наглядным, чем всякая обоснованная теория. Те из нас, кто в дни молодости, полные гордых надежд, посвятили свою жизнь и все свои чувства справедливости и братству — не допускали возможности компромисса со злом. Я близко знаком только с коммунистической партией Соединенных Штатов. Но об этой крошечной организации я могу сказать по совести и если нужно, под присягой, что никогда, ни в какой другой группе я не встречал так много чистых душ, благородных и добрых людей, цельных и идейных мужчин и женщин.

Вы должны мне поверить, так как это говорит человек, порвавший с ними, человек, который не может больше назвать их своими товари-

щами. И если вы не воспримите мои слова, как правду, вам трудно будет понять эту сложнейшую и неправдоподобнейшую страницу нашего времени, — возможно даже, не только нашего времени, но и вообще всей человеческой истории. Вам трудно будет понять также и то, о чем я пишу дальше.

9.

С момента опубликования секретного доклада Хрущева, никто из интеллигентных и хорошо осведомленных коммунистов не сомневался в правдивости этого документа. Уже за несколько недель до опубликования мы знали его содержание в общих чертах. Затем распространились вполне правдоподобные слухи о том, каким путем Государственный Департамент США получил копию доклада. В дальнейшем слухи эти подтвердили некоторые восточно-европейские дипломаты. Кроме того, было несомненно, что ни в Государственном Департаменте ни в нью-йоркской газете «Таймс» не занимаются фальсификацией документов. Совершить подделку было бы не только глупо, но и крайне опасно, так как простое опровержение советским правительством подлинности опубликованного документа поставило бы в очень неловкое положение и господина Даллеса и «Таймс».

Никаких опасений на этот счет возникнуть не могло. В то же время всем партийцам было отлично известно, что в СССР доклад Хрущева был напечатан в тысячах экземпляров, которые распространились среди руководящих работников компартии. Почему была сделана эта колоссальная глупость партийным руководством — один только Бог ведает! Таким образом, опровержение было невозможно, да оно и не последовало. И только год спустя, во время своего интервью по телевидению, Хрущев промямлил какую-то бессмыслицу о «подделке». В течение нескольких часов мы удостоверились, что ни единого слова не было добавлено к тексту доклада. Напротив, он был неполным. Некоторые подробности были слишком ужасны даже для такого вопиющего документа. Потому многое из него изъято, но, конечно, не Государственным Департаментом США, а теми, кто его печатал; все же напечатанное в «Таймс» было точным переводом подлинника.

Через двадцать четыре часа, по нашему решению, «Дэйли Воркер» напечатал полный текст сообщения «Таймс». Насколько мне известно, «Дэйли Воркер» была единственной во всем мире коммунистической газетой, поступившей таким образом.

Это произошло в результате стечения обстоятельств, о которых я сейчас хочу сказать. С момента получения в начале марта 1956 года первых сообщений о 20-м съезде КПСС и до опубликования секретного доклада Хрущева в «Таймс» 5 июня, лидеры коммунистической партии в США буквально отстранились от руководства партией. Исключением был только Джон Гейтс, который в качестве редактора «Дэйли Воркер», по соглашению с другими редакторами и руководящими сотрудниками редакции, в течение этого короткого периода фактически стал как бы вождем американской партии.

Поскольку мне известно, Гейтс был не только единственным из партийных вождей, сумевшим завоевать любовь, почет и уважение рядовых членов партии, но он был также единственным в партийном руководстве, кто отличался смелостью духа, сообразительностью, храбростью и способностью не теряться при столкновении с идеологическими затруднениями. Пять лет, проведенных им в федеральной тюрьме, были годами размышлений и учения, годами душевных страданий. Я хорошо помню его слова о том, что, прочтя в тюрьме запрещенную*) книгу Орвелла «1984 год», он с ужасом познал сущность и коммунистической партии, и самого себя. Столкновение со всем этим было для него столь же болезненным, как некогда болезненна была встреча с фашизмом в Испании и в годы второй мировой войны, как годы тюремного заключения.

Внутри партии и особенно в газете «Дэйли Воркер», отчеты о 20-м съезде КПСС сыграли роль силы, ведущей к духовному освобождению. Такой эффект обуславливается не столько содержанием секретного доклада, который тогда еще продолжал быть секретом, сколько тем, что в работе съезда содержалось первое проявление иконоборчества против партийных идолов. Подобного рода явление было немислимо и никогда не имело места раньше. Это был первый сигнал к восстанию и этого достаточно было для нас, сотрудников «Дэйли Воркер», чтобы начать с воодушевлением низвергать ненавистных нам кумиров. Мы делали это с судорожным усилием тонущего человека, старающегося вдохнуть в себя побольше воздуха. Каждый сотрудник редакции в той или иной мере содействовал общему делу. Что касается меня самого, то я действовал сразу в нескольких направлениях. При этом я испытывал такой подъем духа, который не знал уже в течение многих лет.

Между членами нашей партии была группа людей, придававшая большое значение достижениям психиатрии. Однако, нашу приверженность к этой науке мы должны были скрывать, так как каждому поклоннику Фрейда грозило немедленное исключение из партии. Теперь я мог защищать и Фрейда, и психиатрию, как таковую. Новая обстановка дала мне возможность всеуслышание заявить, что советская доктрина космополитизма — сплошной идиотизм, а в тех случаях, когда она не является полной бессмысленностью, за ней скрывается антисемитизм. Новая обстановка дала мне возможность проклинать смертную казнь, как нечто позорное для человечества вообще, и для социализма в частности. Новая обстановка дала мне также возможность заявить, что еврейский народ в Советском Союзе находится на положении пленника.

Я писал о том, как я люблю свою родину, Соединенные Штаты, и мои товарищи по партии приходили и со слезами на глазах благодарили меня.

Я могу так подробно перечислить свои действия, потому что передо

*) Запрещенную партийной цензурой. Надо сказать, что нет более эффективной цензуры, чем та, которая принята добровольно. Когда в партии накапливается достаточно презрения и ненависти к автору одиозного произведения, начинается по его адресу кампания брани, обвинений и клеветы, и все это у рядового члена партии отбивает охоту брать в руки осуждаемую книгу. Даже взгляд, брошенный на книгу, считался предосудительным.

многие находятся вырезки из моих статей. То же самое делали Аллан Макс, Иосиф Кларк, Бен Левин, Баб Фридман и другие. Эти люди из состава редакции «Дэйли Воркер» писали передовицы, которые по своему характеру и по независимости тона резко отличались от статей остальных коммунистических газет мира. Многие забывают то, что из всех коммунистических газет одна только «Дэйли Воркер», выходящая под руководством Джона Гейтса и Аллана Макса, осмелилась напечатать секретный доклад Хрущева. И только на страницах этой газеты сурово критиковали подавление венгерской революции.

В течение всего указанного выше периода времени наши американские партийные вожди хранили полное молчание. Они были не в состоянии освоиться с новыми мыслями и идеями. Они оказались неспособными изменить или отвергнуть обанкротившиеся и устаревшие идеи. У нас было такое ощущение, что наши вожди запрятались в норы, чтобы укрыться от бури, бушевавшей в среде коммунистов-интеллектуалов. Нам стыдно было говорить о наших вождях. Мы смотрели на них с презрением и отвращением: подобно королю в старой сказке Андерсена, вожди оказались жалкими и голыми.

Что за дни наступили для нас! Какая свобода! Какой триумф испытывали мы, сознавая, что годы ожидания, идейной скрытности, были не напрасны. Мы говорили друг другу, что были правы, оставаясь в партии, что ядро партии — хорошее, здоровое и светлое — способно к обручению с прекрасной богиней разума. Мы открыли страницы «Дэйли Воркер» тысячам писем. Мы печатали все: письма чудаков, неврастеников, твердолобых, письма трезвых и думающих людей, грамотных и безграмотных, мудрых и сумасшедших. Впервые на нашей памяти свободная дискуссия, подобно огню, распространилась в американской партии. Все находили что-нибудь сказать, за исключением партийных лидеров. От них, из их подземных нор, не последовало никакого отзвука на текущие события. Они переживали бурю.

Наконец они заговорили. Но ничего о новых идеях или изменениях мы от них не услышали: они говорили жалкие слова о необходимости удалить Гейтса из газеты и исключить его из партии. Редакция смеялась над этим. «Если уйдет Гейтс, мы все уйдем вместе с ним», — усмехаясь говорили мы. Лидеры отступили и присоединились к дискуссии; они пережевывали старую жвачку, излагая свои мысли все тем же суконным, бессмысленным и утомительным языком, каким они пользовались в течение многих лет. Притупилось их главное оружие, источник всемогущества — власть исключать из партии всех и каждого, кто не соглашался с ними, кто по-серьезному бросал вызов их образу мыслей и их действиям. Эта власть давала им возможность изолировать непослушных членов партии от их друзей, лишать их уважения и общества порядочных людей. Эта власть позволяла вождям все проявления независимого духа обращать в «преступные» замыслы, — что в Советском Союзе обыкновенно завершалось пытками и смертью, а в условиях США сводилось к духовному надлому и моральным страданиям.

Окончательное банкротство этого чужеродного в коммунистической партии элемента, известного под именем руководства, произошло 28 марта, когда Департамент Внутренних Доходов США попытался осу-

ществовать новую репрессию в отношении коммунистической партии Америки. Найдя какие-то сомнительные недочеты в налоговых делах партии, федеральные налоговые агенты явились в контору и стали там распоряжаться. Они описали имущество — пыльные «дела» и старую обстановку конторы. Пытаясь таким путем закрыть газету, власть нарушила традиции свободы печати в Америке. И это было горькой иронией в отношении тех, кто в то время поднял восстание, чтобы вырваться из духовной тюрьмы, в которой мы томились.

В момент появления налоговых агентов генеральный секретарь коммунистической партии Юджин Деннис сидел дома и писал речь. Отбросив религию, нынешнее поколение коммунистических вождей создало взамен ритуал колдовства. Согласно этому ритуалу, чудеса могут быть вызваны путем заклинаний, в которых обычно отсутствует всякий элемент реальности. Такими заклинаниями являлись резолюции. Такими заклинаниями были речи, заявления. Ритуал колдовства был мало понятен обыкновенным людям. Для партийных вождей было совершенно неважным — пройдет ли намеченная резолюция, будут ли куплены и прочитаны книги, услышит ли кто-нибудь речь. Важным являлась обрядность. И из соблюдения обрядности должны были возникать все последующие чудеса. В течение долгих лет члены партии шутливо говорили, что мало кто из них читает и еще меньше кто понимает партийный журнал «Политикал Афэрс», посвященный теории коммунистической идеологии. По мнению же партийных вождей дело вовсе не заключалось в том, чтобы улучшить этот журнал и сделать его пригодным для чтения. Для них был важен факт его существования и этот факт сам по себе должен был производить чудеса.

Следуя принятому ритуалу, Юджин Деннис работал у себя в кабинете, когда сотрудники «Дэйли Воркер» начали отчаянно звонить ему, чтобы сообщить о захвате полицией редакции. Он был возмущен и рассержен, но не фактом захвата газеты, а тем, что ему помешали работать. В течение двух следующих дней мы отчаянно боролись за спасение газеты и, в конце концов, нам удалось ее отстоять. Мы писали статьи в других помещениях, редакторы собирали материал в буквальном смысле «на бегу». Джон Гейтс был неутомим и неустрашим в стычках с федеральными агентами. Он рычал на них, как разъяренный бульдог. Бок-о-бок с нами в течение этих двух дней сражался один левый адвокат, талантливый и смелый — настоящий Дарроу нашего времени*). Как мы тогда гордились собой! Нам было неважно, о коммунистической газете шла речь или о газете каких-нибудь вегетарианцев, или даже о «Нью-Йорк Таймс». Мы боролись за высокие традиции демократии и мы победили. Федеральные агенты захватили контору редакции, ее имущество, ее «дела», пишущие машинки, все, вплоть до синих карандашей. Однако, нам удалось доказать, что дух боевой газеты заключен не в конторе, и не в ее атрибутах. Дух этот живет в сердцах людей, руками которых составляется и пишется газета.

*) Дарроу — имя известного некогда американского адвоката, ставшее нарицательным. Кларенс Севард Дарроу (1857—1932) прославился в судебных процессах, где выступал в качестве защитника интересов рабочих организаций.

За все это время никто из лидеров партии, за исключением Гейтса, не появлялся у нас. Никто из них не постарался подбодрить нас в нашей борьбе, поддержать нас своим доверием. Утомленные тяжелой работой, но воодушевленные делом, рядовые члены партии приходили к нам и приносили свою скудную лепту. Вожди же оставались в стороне.

Может быть вам покажется странным, что я слишком подробно останавливаюсь на наших вождях, но характеристика вождей показывает характер самой организации. Вожди попали на занимаемые ими места не случайно, не путем каких-либо особых интриг. Они попали на них потому, что страшная логика требовала именно такого рода вождей. Это так же логично, как логично и то (я покажу это дальше), что, в отличие от вождей, рядовые члены партии в большинстве являются людьми преданными делу, самоотверженными и жертвенными. Мне кажется, что это положение является одним из наиболее важных и характерных для нашего времени и от него нельзя отделяться простым делением людей на правых и левых. Значения и важности этого положения нельзя преуменьшить при помощи философских софизмов, как нельзя и бороться с ним теми прямолинейными методами, какими борется правительство США.

Монолитность партии Ленина и ее руководства . . . Как трагичен был момент, когда советские вожди, раскрыв карту невероятных ужасов, которые когда-либо происходили в наше время, благодушно заверяли весь мир, что эти ужасы явились результатом, так называемого, культа личности, а поскольку культ личности уничтожен, ужасы прошлого не повторяются. Никто не пытался объяснить причин, превративших этих людей в чудовища. Никто не пытался вникнуть в характер организации, которую они возглавляли. Никто не упомянул о мании преследования, которой одержимы совсем невеликодушные деспоты. Никому не пришлось в голову остановиться на этих фактах и попробовать в них разобраться. Впрочем, уверовав в колдовство и магию, незачем обращаться к логике: достаточно сказать «культ личности» — эти слова, как слова магического заклинания, разрешают все проблемы.

Никто иной, как русский дипломат сообщил мне, что за последние семь лет своей жизни Сталин ни разу не встречался ни с рабочими, ни с крестьянами. Он вращался лишь в кругу своих приближенных, в кругу лакеев и прихлебателей. От русского же дипломата я узнал, что Берия отличался пристрастием к женскому полу, явление нередкое и среди наших лидеров. Коммунистический журналист, побывавший в СССР, буквально ошеломил нас, рассказывая целый вечер о том, как в прошлом Хрущев руководил массовыми расстрелами и кровавыми расправами.

Министр иностранных дел одной из стран коммунистического блока со слезами на глазах рассказывал мне и моей жене, как советские вожди казнили его товарищей.

«Мы, коммунисты, — сказал он, — дали всему миру урок, как нужно умирать с достоинством и без страха. Но когда нам пришлось умирать от рук своих убийц, то они отказали нам даже в том маленьком утешении, которое заключается в храброй и достойной смерти. Они бьют и истязают нас до тех пор, пока мы не начинаем

валяться у них в ногах и не сознаемся в самых невероятных преступлениях, вымышленных ими самими и приписанных нам».

В тот период я посещал дипломатические круги, потому что мои книги были очень популярны в странах коммунистического блока. Мое общение с дипломатами продолжалось до тех пор, пока крик души одного из них не заставил меня прекратить это. Как то раз дипломат одной из восточных стран сказал мне, волнуясь: — «Мы будем страдать и мучаться до тех пор, пока из социалистического Советского Союза не будут выброшены эти подонки. Когда это произойдет, то мы сделаем то же самое и у себя».

Он говорил о коммунистических вождях Советского Союза и о коммунистических вождях своей страны. А сам он был убежденным коммунистом. Это необходимо отметить и обратить на это внимание.

Нужно быть близоруким и поверхностным, чтобы, говоря о такого рода вещах, обвинить во всем социализм. Вожди коммунистической партии не представляют собой социализма — так же, как они не представляют собой России. Они не представляют даже своей собственной партии, хотя являются ее детищем. Грубейшая ошибка утверждать, что эти люди построили социализм в Советском Союзе. И если кто-нибудь так думает, то он должен прочитать секретный доклад Хрущева. Прочитав его, нетрудно решить — являлись ли Сталин и окружавшая его шайка палачей и убийц строителями социализма или его фактическими врагами. По свидетельству самого Хрущева, фашизм был побежден не благодаря, а вопреки Сталину и его приспешникам. Вопреки Сталину обновленная страна восстала из пепла.

Не от врагов Советского Союза, а от советского дипломата услышал я впервые характеристику Сталина, как человека, который в ответ на проявление сомнений, пытливости и независимости духа говорил только одно: «Бейте их палками, бейте, бейте и еще раз бейте!» Какова же должна быть сила социализма, если он достигает таких успехов, каких достиг в России, когда на его спине сидели и процветали такие звери.

Люди, о которых я говорю, не в состоянии создавать ничего, кроме могил, страха и мучений. И в настоящее время, когда советские вожди занимаются «дворцовыми» интригами друг против друга, становится все яснее и яснее, что там, на низах, в той среде, где живут, работают, любят и ненавидят простые люди — там, среди этих людей, начинает подниматься волна возмущения, которая не предвещает ничего хорошего для вождей.

10.

Я вернусь к тому периоду времени, когда коммунистическая печать пользовалась свободой мысли и действия. Период этот начался в первой половине марта 1956 года. Тогда у нас царили вера и надежда на обновление партии. Однако настроение начало увядать в июне того же года, после опубликования секретного доклада Хрущева.

Доклад был напечатан в «Нью-Йорк Таймс» 5 июня. На следующий день сотрудники газеты «Дэйли Воркер» собрались в кабинете Аллана Макса. Мы уже успели прочитать доклад Хрущева и мрачный ужас был написан на наших лицах. Началась дискуссия о том, нужно ли печатать доклад в «Дэйли Воркер». В процессе дискуссии произошло нечто такое, чего я не забуду до конца моих дней. Это могло случиться только в момент, когда мы увидели перед собою жестокую, неумолимую правду. Молодых среди нас было немного. Большую часть нашей сознательной жизни мы отдали коммунистическому движению. Мы принесли ему огромные жертвы. Ради него мы мирились и с ужасами войны, и с тюрьмой, и с нищетой. Не раз мы смотрели в лицо смерти. Некоторые из нас отказались от блестящей служебной карьеры, другие пожертвовали жизненными успехами и богатством, третьи — почетом и уважением: Все мы, вместе взятые, составляли маленькую группу людей, преследуемых и гонимых в течение десятка лет, но нас объединяла и вдохновляла яркая мечта о справедливости и братстве. Мечта эта и сейчас еще продолжает вдохновлять нашу маленькую группку, состоящую из людей давно друг с другом знакомых и хорошо друг другу известных. И вот, под влиянием осенившей меня во время дискуссии мысли, я обратился к этой группе и сказал:

«После всего того, что мы узнали, может ли кто-нибудь из присутствующих здесь товарищей быть уверенным в том, что он остался бы жив, будь у наших здешних партийных вождей власть убивать?»

Все посмотрели на меня, но никто не сказал ни слова. Нам стало ясно, что наш долгий путь окончился тупиком. Мы поняли, чему мы обязаны тем, что мы живы. Мы, наконец, увидели правду в ее ужасающей наготе. Каждый из нас, по мере своих сил и способностей, в той или иной степени отдавал себя служению человечеству, идеалам братства. И вот теперь мы узнали, что наградой за все это бывает смерть.

На первый взгляд такого рода заявление может показаться слишком «драматичным». Но, тем не менее — оно является неприкрашенной правдой. В секретном докладе приводятся различные объяснения по поводу казней и пыток, но сам доклад отражает лишь небольшую часть творившихся ужасов.

Наиболее неуклюжим и смешным ходом являлась попытка ЦК партии объяснить все злодейства «культом личности». Попытка эта показывает всю убогость мысли нынешних советских вождей. Среди советских сановников распространяются также различные версии о сталинской мании преследования, о его болезни. Это страшно слышать из уст людей, которые так решительно отрицали значение психиатрии, как науки. Несомненно, что Сталин был больным и ненормальным, но разве больным и ненормальным был один Сталин? Перечисленные в докладе убийства не связаны между собой ни логикой, ни целями, ни планом. Но в то же время они не могут быть приписаны безумной кровожадности только одного или двух лиц.

Ясно одно: все жертвы были виновны лишь в отклонении от ортодоксальной партийной линии, в чем бы это отклонение не выразилось. Иногда это была открытая оппозиция, но иногда и невинное, в сущности, слово влекло за собою смерть по приказу Сталина. Нередко обвиняли в отклонении от «генеральной» линии на основании оговора, анонимных писем, слухов, сплетен. Все это считалось достаточным для обвинения.

Все мы, собравшиеся в тот день в редакции «Дэйли Воркер», были виновны в такого рода отклонениях от ортодоксальной линии. Все мы это знали, и знало это также наше партийное руководство. Некоторых из нас наши вожди ненавидели и не переносили. Каждого из нас, присутствовавших на этом совещании, наши вожди в лучшем случае только терпели. Мы подошли к кульминационному пункту нашего понимания структуры коммунистической партии. Мы поняли, что применяемый вождями партии террор — не столько результат их личной кровожадности, сколько неотъемлемый атрибут идеологии партии, неразрывно связанной с образом смерти. Другой вопрос, почему сумасшедшие, страдающие манией преследования получают власть над жизнью и смертью других. Об этом в дальнейшем я буду говорить. Какие бы возражения не приводились против моих высказываний, эти высказывания основывались на моем глубоком убеждении.

Таким образом, ужасная сущность секретного доклада стала для нас реальностью не в результате событий, имевших место в Советском Союзе, но в результате нашего личного опыта пребывания в коммунистической партии США.

11.

Приступая к работе над этой книгой, я опросил по крайней мере сотню хорошо информированных людей — читали ли они секретный доклад Хрущева. Среди них было несколько бывших коммунистов, а также лица, вполне убежденные в том, что они в курсе всех текущих событий. Оказалось, однако, что только один человек из всей этой группы прочитал большую часть документа.

В книге я все время возвращаюсь к докладу Хрущева, как к основному пункту, определившему ход моих мыслей, как к фактору, который, больше чем что-либо, повлиял на мои дальнейшие поступки. Я охотно признаю, что факты, упоминаемые в хрущевском докладе, неоднократно опубликовывались антикоммунистами в течение последних двадцати лет. Я всегда думал, что каждый объективный наблюдатель должен понимать громадную разницу, существующую между обвинением и доказательством. Поскольку я горячо верил в справедливость советской практики управления, я отвергал приводимые антикоммунистами обвинения — ввиду категорического опровержения их советской властью. Эти обвинения стали убедительными лишь тогда, когда сам официальный глава коммунистической партии Советского Союза своим авторитетом подтвердил большинство тех фактов, к которым я привык относиться как к «клевете».

Однако, тем, кто не читал и не изучал хрущевского доклада, это не было известно. И я не представляю себе, чем подобного рода материал можно было бы заменить. Я не сомневаюсь, что секретный доклад Хрущева широко (конечно, нелегально) циркулировал в Венгрии перед началом революции и я уверен, что он имел решающее влияние на создание революционной ситуации в этой стране.

Такой же революционизирующий характер и такое же влияние на коммунистическую партию Соединенных Штатов произвело появление секретного доклада в Америке. Сообщения из других источников могли пролить больше света на данные доклада и восполнить его неясные и непонятные пункты. В другом месте я упоминаю о фактах, «опубликованных в польско-еврейской коммунистической газете «Фольксштимме», которые, так сказать, раскрыли ящик Пандоры с его отвратительными антисемитскими злодеяниями. Ознакомившись с длинным списком крупных еврейских писателей, уничтоженных советской тайной полицией, мы получили ключ к раскрытию той загадки, которая нам, верившим советской власти, представлялась раньше совершенно неправдоподобной. Вера и неверие всегда связаны друг с другом.

Вскоре после этого открытия — я думаю это было в июле 1956 года — ко мне явился один из членов партии с предложением составить документ, в форме открытого письма советскому правительству, с требованием объяснений по поводу антисемитских зверств в СССР. Объяснений по поводу этих зверств не дано и до настоящего времени.

Я составил документ, который должны были подписать видные американские коммунисты, и он был рассмотрен на специально созванном для этого совещании. Из партийных вождей на совещание явился только Джон Гейтс. На нем присутствовал еврейский историк Морис Шаппес. Шаппес рассказал о статьях, помещенных в «Манчестер Гардиен» британским корреспондентом, который присутствовал в Москве на суде, разбиравшем, если я не ошибаюсь, дело двадцати старых евреев. Они обвинялись в хранении «сионистской литературы», и за это «страшное» преступление их присудили к тюремному заключению от трех до десяти лет.

Во время своего рассказа Шаппес заметил, что на лице Гейтса, недавно выпущенного из тюрьмы, начало появляться выражение ужаса. Гейтс спросил Шаппеса: «Но по какому же закону их осудили?»

Шаппес указал ему на соответствующий параграф советского Уголовного Кодекса и добавил: «Этот закон фактически в десять раз хуже существующего у нас в Америке закона Смита».

Тот факт, что ни Гейтс, ни я и никто из присутствующих не имел понятия об этом советском законе, показывает, как плохо мы были осведомлены. Согласно этому закону советский гражданин может получить десять лет тюрьмы, если у него будет найден номер «Нью-Йорк Таймс» или другой подобный материал. Но самое важное заключалось в том, что все мы поверили сказанному. Другими словами, сама основа нашей веры в Советский Союз была поколеблена. Изменилось все наше понимание действий партии. Наша точка зрения на нее стала совершенно отличной от прежней. И хотя присутствующие не нашли в себе мужества подписать документ, все же в течение всего вечера они, не стесняясь, с возмущением говорили об ужасном факте, который сообщил Шаппес.

Я самым категорическим образом отвергаю ходячее объяснение, по которому упомянутые в секретном докладе события были вызваны революционной необходимостью. Каждый, изучавший русскую революцию, знает, что в начальный период она играла роль освободительного фактора. Репрессии, описанные выше, начались в тридцатых годах. Сейчас, впервые с момента захвата Сталиным и сталинизмом власти в социалистическом лагере, можно восстановить полную картину террора — на основании советских и родственных им источников. Данных так много, что их невозможно перечислить. Но даже то простое введение ко всему этому громадному материалу, которым, в сущности, является доклад Хрущева, может убедить каждого, кто возьмет на себя труд прочитать его.

Я советую прочитать его не для того, чтобы порочить и клеймить советскую систему, но для того, чтобы этим помочь человечеству успешно идти вперед к всеобщему миру и социальной справедливости. До тех пор, пока советский социализм в том виде, в каком он сейчас осуществляется коммунистической партией, будет претендовать на ото-

ждествление себя с прогрессом, не будет на земле подлинной свободы. И тот факт, что колониальные народы, борющиеся за свою свободу, поддерживаются коммунизмом и обращаются к нему, доказывает только то, что в борьбе за мировое владычество Советский Союз гораздо хитрее и умнее нас.

Я расскажу сейчас о человеке, который ездил в Советский Союз, приблизительно, год назад. Он поехал по поручению еврейской комиссии коммунистической партии и повез с собой целый ряд вопросов, требующих ответа. Он был и продолжает оставаться лояльным коммунистом, хотя для меня это совершенно непонятно.

Вернувшись, он два часа просидел у меня в конторе, говоря о своих впечатлениях. Год назад было бы совершенно невозможно, чтобы американский коммунист, облеченный доверием партии, мог рассказать мне подобные вещи и чтобы я стал их слушать. Хрущевский доклад сделал это возможным и мой гость мог мне рассказать совершенно невероятную и жуткую историю. В заключение, передавая слова знакомого мне поляка, занимающего очень высокое положение в правительственных и партийных кругах, он сказал серьезно и доверительно:

«Говард, вы должны понять, что это не какой-нибудь маленький вопрос, имеющий второстепенное значение. Это существование всего происходящего. Этот поляк с полной ответственностью сообщил мне, что, в процессе массового истребления, длившегося много лет, около пятнадцати миллионов человек, оказавшихся непосредственными жертвами террора, были брошены в тюрьмы и концлагеря, и почти пять миллионов из их числа погибли».

Я отказался этому верить. Но он сказал мне с глубокой печалью:

«Я тоже отказывался верить. Я не мог себе этого представить. Но все несчастье в том, что это действительно правда».

Если коммунисты усумнятся в правдивости этой истории, им очень легко выяснить, о ком именно я говорю. Пусть спросят его, лгу я или нет. Он, конечно, припомнит наш разговор, хотя публично никогда не говорил об этом в таких выражениях.

Секретный доклад Хрущева лежит в основе всего. В течение многих лет имя Троцкого предавалось проклятию. Коммунистам не разрешалось читать его произведения, а тем паче цитировать. Но за несколько недель до того, как я начал писать мой труд, я открыл книгу Льва Троцкого «Революция, которую предали», в которую я не заглядывал почти двадцать лет. И хотя книга была издана в 1937 году, ее слова звучали потрясающе, будто она была написана сегодня. Они звучали, как убийственный комментарий к докладу Хрущева.

Меня не беспокоят те обвинения, которые посыпятся на мою голову со стороны коммунистов. Но я считаю нужным заявить им, что они должны заработать себе право возражать мне. Поэтому я бросаю коммунистам вызов: пусть они перечитают заново секретный доклад, внимательно и полностью, пусть они сравнят его с книгой Троцкого «Революция, которую предали», — и уже после этого пусть попытаются опровергнуть мои утверждения. Партийные тупицы, послушные подголоски партийного руководства, конечно, не сделают этого.

12.

Из написанного можно уже составить отдельные части той головоломки, какую представляет поднятый мною вопрос. Правда, разрозненные детали больше возбуждают вопросов, чем дают ответов, но они представляют собой составные части целого. В целях упрощения исключительно сложного и запутанного процесса, я выдвинул некоторые произвольные предпосылки. И если сейчас кажется, что все вожди в коммунистической партии — дьяволы, а рядовые члены — святые, то в этом моя вина. Дело в том, что писатель, ограниченный запасом слов и количеством страниц, поставлен перед необходимостью или упрощать свои схемы, или допускать неясности в определениях. Конечно, среди вождей партии есть хорошие, честные и добрые люди, — так же, как и среди ее рядовых членов немало проходимцев, изуверов, фанатиков, роботов и дураков.

Я старался лишь указать, что движущие силы, которые лежат в основе организационной структуры партии, развиваются в двух диаметрально противоположных направлениях. С одной стороны, мы видим властолюбивые и диктаторские, бесчеловечные и антигуманные устремления партийной верхушки. С другой стороны — покорность и приниженность, безыдейность и духовную опустошенность рядовых членов. Обе эти тенденции вытекают из организационной структуры, теории и практики, применяемых в том ордене символической магии, которым является коммунистическая партия. И поскольку эти течения имеют место в организации, состоящей из людей, получается огромное множество исключений из общего правила.

Я не думаю, что можно, как следует, понять сущность коммунистической партии без достаточного личного опыта. Однако, мне кажется, что при желании каждый мог бы постигнуть эту сущность более верно, чем она преподносится в тех легендах, которые распространяют о компартии и правые, и левые.

Главный и основной смысл этой книги заключается в стремлении описать взаимоотношения, возникающие в результате союза между писателем и комиссаром. Вся история коммунистической партии насквозь пронизана эмоциями писателей. В них мы находим и беззаветную преданность, и любовь, и ненависть, и энтузиазм, и страдание; неудивительно, поэтому, что представление широкой публики о коммунистической партии в значительной мере отражает отношение к ней писателей. И хотя здесь заключается известный и даже глубокий смысл, тем не менее, это составляет лишь одну сторону вопроса. По моему мнению,

трудно понять то, что происходит с писателями в партии, если мы не представим себе и не поймем партию, как определенный организм.

Коммунистическая партия имеет монолитную структуру, ставит себе единую цель и управляется партийным руководством, пользующимся исключительным престижем. Поэтому понятно, что всякая оппозиция и наличие фракций внутри партии не терпимы. Даже в тех случаях, когда партия раздирается внутренними противоречиями, перед внешним миром она старается представить себя как монолит, и категорически отрицает наличие каких-либо разногласий и фракций. В тот период, когда существовала «фракция Джона Гейтса», — так ее неоднократно называли в газетах, — руководство партии отрицало существование и внутрипартийного раскола, и «фракции Гетса», враждебной «фракции Фостера».

Однако, раскол был. И то, что «фракция Гейтса» в своих принципиальных установках не соответствовала классическим формам и классической сущности партии, делало неизбежным конечное поражение этой фракции. Сторонники Джона Гейтса составляли собой довольно разношерстную группу с весьма разнообразным мировоззрением. В своей основе эта группа возникла в результате той революции в редакции «Дэйли Боркер», в которой приняли участие ее сотрудники во главе с самим Джоном Гейтсом. В течение нескольких недель, прошедших со времени захвата редакции агентами правительства, до появления хрущевского секретного доклада, «фракция Гейтса», казалось, брала верх. Однако, мне думается, она никогда не представляла собой большинства в партии. Первоначальный успех фракции основывался исключительно на силе ее моральных установок, которые резко отличали ее от совершенно обанкротившихся идейно ее оппонентов. Многие из нас думали, что, если будем действовать быстро и решительно, то сможем захватить в свои руки контроль над всей партией. Нам казалось, что мы можем найти новых вождей — среди порядочных, честных и гуманных людей, и можем организовать в рамках социализма действительно демократическое, гуманитарное движение. Нам казалось возможным таким путем высечь искру, которая зажгла бы новым пламенем коммунистическое движение во всем мире.

Правда, в количественном отношении коммунистическая партия Соединенных Штатов была незначительной. Но, тем не менее, это была коммунистическая партия наиболее сильной нации на земле, и поэтому значение ее далеко превосходило и ее размеры, и ее возможности. Если бы наша мечта осуществилась, произошли бы, вероятно, весьма интересные события. Но сейчас, оглядываясь назад, я уже не считаю возможным, чтобы такого рода мечта могла стать реальностью. В группе Джона Гейтса были люди, которые стремились реформировать партию, но были и другие, которые хотели лишь смены вождей. Были также и такие, которые стремились положить конец практике «демократического централизма». Некоторые, наконец, хотели изменить не только основную структуру партии, но даже ее название. Кроме того, в группе имелось значительное количество людей, считавших, что наиболее логичным выходом из создавшегося положения была бы ликвидация партии — ликвидация, сопровождавшаяся заявлением, в котором честно и всеуслышание были бы указаны причины банкротства пар-

тии и приведены мотивы, объясняющие, почему партия в нашей стране должна перестать существовать, как политическая организация, ставящая своей целью достижение социализма.

Я сам принадлежал к этой последней группе и был глубоко убежден, что основная причина поражения «фракции Гейтса» заключалась в том, что царившие в ней настроения приводили к единственному логическому выводу — к необходимости ликвидации партии.

Много причин было приведено для объяснения поражения фракции. Со страхом говорили о недостойных и беспринципных тактических приемах, которые «фракция Фостера» применяла во внутривнутрипартийной борьбе. Такого рода приемы были старым, испытанным оружием этой фракции. Говорили, что сотни людей из «фракции Гейтса», принадлежавшие к наиболее выдающимся и наиболее независимым умам, оставили партию до того, как группа потерпела поражение на национальном конвенте партии. Поскольку группа Фостера стояла на позиции сохранения партии в ее прежнем виде, поражение восставших было предопределено. Это, конечно, произошло не только потому, что члены партии, которые не были сторонниками Гейтса, верили в необходимость бессмысленной неограниченной власти партийного руководства.

Не только мы, сотрудники «Дэйли Воркер», принимавшие участие в заседании, о котором я говорил раньше, видели, что организационная структура партии неизбежно приводит к пыткам, жестокостям и убийствам. Многие в партии понимали это не хуже нас. Через несколько недель после опубликования секретного доклада Хрущева, мой старший друг из Детройта приехал в Нью Йорк, и пробыл у меня несколько дней. Я знал его много лет. Он всегда казался мне наиболее совершенным типом американского рабочего. Большой коренастый ирландец, родившийся в Детройте, он принимал деятельное участие в борьбе, которую рабочие Детройта вели за создание крупного профсоюза автомобильных рабочих. В течение последних лет его преследовали, издевались над ним. Его фамилия значилась в черном списке на всех фабриках Детройта, потому что он принадлежал к левым. И вот этот человек сказал мне:

«Ховард, что бы обо мне не говорили, как бы меня не проклинали, всем было хорошо известно, что меня нельзя купить. Меня ненавидели, но так как я всегда сохранял свою честь и достоинство — меня уважали. Теперь у меня больше нет ни того, ни другого. Что будет со мной дальше?»

Тем не менее, он продолжал оставаться в партии. Не потому, конечно, что он хуже меня представлял себе тот ужас, в котором была виновата партия, но потому, что только партия дала ему, как рабочему, проблеск надежды и помощь, — чего он никогда не получал ни от кого другого. Пусть американцы, принадлежащие к так называемому среднему классу, полагают, что рабочий отличается от них только несколько более низким заработком. В действительности это не так. Конечно, рабочий, как и другие американцы, может приобретать такие предметы комфорта, как холодильники, стиральные машины, автомобили и так далее. Но все это держится на ниточке. За все это нужно каждый месяц выплачивать, — и человек должен вертеться, как белка в колесе, и

работать безостановочно, как машина. Работа на сталелитейном заводе совсем не похожа на работу в учреждениях с системой воздушного охлаждения. И удобное кресло, сидя в котором, я работаю, нельзя сравнить с конвейером на фабрике. Рабочий на фабрике, будь то здесь или в Советском Союзе, всегда испытывает некоторую приниженность и подавленность, которые влияют и на его психику, и на его здоровье. Пусть подавляющее большинство американских рабочих игнорирует коммунистическую партию, но той маленькой кучке, которая в нее вступила, партия дала возможность хотя бы мечтать и надеяться, что в будущем те, кто трудится «в поте лица своего», сравняются по своим заработкам и своему положению с теми, кто не работает в буквальном смысле этого слова.

У партийцев-интеллигентов больше возможностей осуществить свои мечты и надежды. Они могут высказываться, вступать в другие организации и добиваться своей цели иными путями. Но у партийца-рабочего нет ничего другого, что заменило бы ему мечту и надежду на равенство в будущем. С партией у него связана повседневная жизнь и повседневная работа в мастерской или на фабрике. Пока партия существует, он может надеяться на будущее, на перемены. Но — если партия ликвидирована, что может занять ее место? . .

Так он верил и так он поступал. И это тоже было одним из фактов, которые способствовали поражению «фракции Гейтса». Иногда мне кажется, что чем ближе и чем подробнее знакомиться с тем, как функционирует партийная организация, тем яснее будет становиться ужасающая логика вещей, лежащая в основе секретного доклада Хрущева. Личный опыт подтверждает нам правдивость фактов, содержащихся в нем. Я убежден, что среди людей, принесших наибольшие жертвы ради партии, было очень много, ясно представлявших себе ее природу и деятельность. Я лично знаю десятка два партийных работников, которые посвятили партии всю свою сознательную жизнь и которые вышли из ее рядов в результате горького разочарования. Эти люди слишком хорошо знали партию и ее структуру, чтобы поверить, что она может стать орудием освобождения человечества.

С другой стороны, мне припоминается отношение к этому вопросу одной очень мягкой и культурной дамы, которую я и моя жена знали почти двадцать лет. Это была женщина высоко интеллигентная, талантливая. Она занимала ответственную должность и была замужем за ученым с мировой известностью. Она позвонила мне на другой день после опубликования хрущевского доклада: «Я надеюсь, вы не тратили времени на чтение этого доклада?». Я ответил, что прочел его дважды очень внимательно, — и спросил, читала-ли она его. Дама ответила:

«Я не читаю антисоветских клеветнических подделок, изготовленных в американском Государственном Департаменте. Ничто не может изменить моего отношения к Советскому Союзу и к коммунистической партии, я знаю их слишком хорошо».

Она никогда не была в Советском Союзе, а ее представление о коммунистической партии, к которой она принадлежала, основывалось на тех знакомствах и встречах, которые она имела с некоторыми партийцами. Это были прекрасные люди. Их отвага и постоянство вызывали

ее восхищение. И не только ее отношение к партии, но и отношение ее мужа и многих других основывались на подобных же данных.

Следует заметить, что далеко не все люди читают все, что печатается. Когда же опубликованный документ заключает в себе более, чем двадцать пять тысяч слов мелкого шрифта и написан далеко не первоклассным английским языком, когда он скучно и монотонно перечисляет длинный список ужасов, жестокостей и убийств — лишь немногие способны прочесть его до конца. Тем не менее, меня удивляет, что многие коммунисты лишь весьма поверхностно просмотрели этот документ, а огромное большинство и совсем его не читало. В особенности это относится к «фракции Фостера». Эти коммунисты обычно приводят целый ряд оговорок, высказывают сомнения в подлинности документа, говорят о недостатке времени, о неимении под рукой подлинного текста и так далее. Но все эти оговорки не выдерживают критики. Было бы гораздо честнее сознаться, что им страшно читать хрущевский доклад. Некоторые, начав его читать, не могли преодолеть чувства отвращения. Были и такие, партийцы, которые, в результате долголетней привычки к странной логике коммунистических вождей, отгородились от страшного документа, словно непроницаемой стеной.

Нужно отметить, что среди лиц, не принадлежащих к партии, но симпатизирующих ей, некоторые определенно враждебно относились к точке зрения Гейтса. В их числе была группа очень богатых людей, из которых многих я знал лично. Они оказывали помощь радикальному левому движению, хотя обычно ограничивались подачками, которые делали очень неохотно. Чтобы получить от них деньги, приходилось кланяться и унижаться, хотя деньги предназначались не для себя, а для дела, в которое они верили. Эф-Би-Ай*) высказывало мнение, будто подобные лица активно и горячо поддерживали партию в ее борьбе и раскрывали для нее и свои сердца, и свои кошельки. Однако, в данном случае Эф-Би-Ай ошибалось. Эти люди никогда не принимали участия в публичных демонстрациях. Их не было видно и во время массовых выступлений, происходивших за последние десять лет. Они не проводили дней и ночей на партийной работе без награды и поощрений. Они лишь давали деньги и при этом в очень небольшом количестве.

Тем не менее, когда внутри партии началось восстание, они были первыми, кто называл нас изменниками, предателями, оппортунистами и агентами Эф-Би-Ай. В квартире одного миллионера, живущего со своих доходов, который перестал со мной разговаривать, считая меня изменником, я слышал, как богатый владелец целой сети ресторанов и бывший содержатель притона, недостойный мыть ноги Джона Гейтса, называл его изменником, оппортунистом и предателем. А другой миллионер, банкир и фабрикант говорил о Джозефе Кларке из «Дэйли Воркер», как о «паршивом агенте» Эф-Би-Ай, причем он визжал от злости, когда это говорил. Богатая дама, сбрасывая с себя соболью шубу, за которую было заплачено пять тысяч долларов, сказала: — «У нас только один путь — путь гражданской войны и баррикад. Рабочие

*) Федеральное Следственное Бюро — орган федерального правительства для расследования преступлений общегосударственного значения.

13.

Многие американцы убеждены, что коммунистическая партия, Советский Союз и социализм — это различные наименования одного и того же явления. И очень многие из них чрезвычайно удивятся, узнав, что даже в Советском Союзе, где членство в коммунистической партии дает привилегии и власть, всего лишь около восьми с половиной миллионов коммунистов. С другой стороны, многие долголетние члены партии ставят знак равенства между коммунистической партией и социализмом, считая, что без компартии социализм превращается в невыполнимую мечту. Есть и такие, кому кажется, что социализм, сколько-нибудь отличный от советского социализма, вообще существовать не может.

Я не собираюсь разбирать социализма как такового, ни в его теории, ни в его практике. Однако, несмотря на мою твердую уверенность, что все народы земного шара найдут свои пути к социализму, я полагаю, — созданный ими социализм ни в коей степени не будет советским социализмом или похожим на него. В настоящий момент я буду говорить только о коммунистической партии.

Эту партию никак нельзя отождествлять с социализмом. Социалистическая теория выросла из мечтаний и надежд, взрощенных столетиями и подвергнутых научному анализу. Эта теория, с точки зрения исторического материализма, была сформулирована и обработана Марксом и Энгельсом. Коммунистическая же партия, в ее наиболее распространенном нынешнем виде — есть результат специфически русского опыта Ленина и других вождей русского революционного движения, которые уходят корнями в XIX век и начало XX столетия. Много книг было написано о борьбе, происходившей внутри русского социал-демократического движения и приведшей его к разделению на фракции. В процессе этой борьбы одна из фракций, известная под именем большевиков, сумела одержать верх над другими и, в конце концов, захватить руководство всем движением. И хотя указанные события и факты представляют собой значительный интерес, рассмотрение этого периода русской истории в задачу настоящего труда не входит.

Такого рода работа требует подробного изучения эпохи и длительной подготовки. Всякая попытка упростить и схематизировать ее приведет к сумбуру. Однако, большинство документов, относящихся к этому периоду, включая и некоторые труды Ленина, считаются сейчас непроверяемой, чуть ли не религиозной догмой. Для целого поколения коммунистов эти догмы являлись как бы сводом законов, которыми учителя коммунизма пользовались, на которые опирались и которым

придавали выпященный, почти метафизический характер. Объединяя два исторических периода, — в полстолетия каждый, — совершенно непохожих друг на друга по своему социальному значению, — коммунисты стремятся использовать свою догматику, как отправную точку для оправдывания их отрыва от действительности, как своего рода «священное писание», с помощью которого пытаются доказывать незыблемость и правоту своих, по существу предвзятых, выводов. В центре внимания обычно ставится вопрос о происхождении коммунистической партии и совершенно игнорируются вопросы о том, что партия собою в действительности представляет и каковы ее цели.

В очень любопытной и странно написанной книге, «Краткий курс истории Коммунистической Партии Советского Союза», очень мало говорится о том, что легло в основу создания партии, — хотя книга сделана настоящей для целого поколения коммунистов во всем мире. В ней очень много говорится о божественном авторитете коммунистического учения, однако, образ и форма самой партии продолжают оставаться загадочными и таинственными. Нигде в книге нет прямого и точного описания организации и работы партии, несмотря на то, что на каждом шагу о ней говорится, как о партии «нового типа». К сожалению, данные, которые могли бы объяснить разницу между «новым типом» партии и партиями старого типа, отсутствуют. Книга изобилует странными и часто невразумительными сообщениями о контрреволюционных атаках, которые вели на партию троцкисты, зиновьевцы, каменевцы, бухаринцы, рыковцы и другие группы. При этом упорно подчеркивается утверждение, что, несмотря на эти атаки, организационная целостность и чистота теоретических принципов в партии сохранились полностью. Однако, сущность расхождений между партией и оппозиционерами читателю продолжает оставаться неясной. Нам известно в деталях, какую позицию занимают большевики по целому ряду вопросов, но нам никогда внятно не говорили, каким именно путем большевистская партия пришла к этой позиции и чем она отличалась от позиции других фракций и политических групп. О мнении меньшинства, за исключением случаев, когда оно становилось общественным достоянием, никогда не сообщалось, а сторонники оппозиции для вящей безопасности уничтожались.

Так или иначе, книга эта исключительно любопытна. Она написана своеобразным языком, полным яда, площадной брани, вульгарных и упрощенных утверждений, языком, напоминающим по своей примитивности американский букварь — «Основы английского языка — в тысячу слов». И все же эта книга известна всему миру и является чем-то вроде партийной библии. Первоначально в партии говорили, что «Краткий курс» — коллективное произведение и что он составлен группой выдающихся советских мыслителей — «марксистов». Этим объясняли недостатки стиля и отсутствия литературной обработки. Говорили, что в книге содержится глубокая мудрость и поэтому ей не нужны риторическая, грамматическая и стилистическая отделка.

Нам говорили, что особое внимание мы должны обратить на четвертую главу этой книги. Она представляла собой вульгарное, крайне упрощенное изложение теории диалектического материализма, но мы

должны были относиться к ней с пиететом, так как это, мол, произведение великого мастера, самого Сталина.

Легко себе представить наше смущение и недоумение, когда после 1946 года в Советском Союзе авторство этой книги стало приписываться одному только Сталину. Наше недоумение усиливалось еще тем, что книга, с начала до конца, была наполнена похвалами Сталину — в третьем лице. Впоследствии нам было сказано, что Сталин фактически не писал этой книги, но что он вдохновил ее составителей и указание на его авторство было сделано, собственно говоря, против его желания, как следствие того уважения, с которым к нему все относились. Позднее из Советского Союза были получены сведения, по которым выходило, что Сталин — непосредственный автор «Краткого курса» и собственноручно его написал. Наши вожди, растерявшись, заявили, что они так же изумлены, как и мы, но что в данном случае важным является книга, а не то, кто ее написал. В конце концов ответ на этот интересный вопрос появился в секретном докладе Хрущева в следующей форме:

... Как известно, «Краткий Курс Истории Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков» был написан комиссией Центрального Комитета партии. Эта книга, которая к стати сказать, тоже проникнута культом личности, была написана группой специально отобранных авторов. Этот факт отмечен следующим образом на корректуре «Краткой Биографии Сталина»: «Комиссия ЦК ВКП(б), под руководством товарища Сталина и при его ближайшем участии, подготовила «Краткий Курс Истории ВКП(б)».

Но даже такая формулировка не удовлетворила Сталина. В окончательной редакции «Краткой Биографии» она была заменена следующей фразой:

«В 1938 году появилась книга «История ВКП(б)», (краткий курс), написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией ЦК ВКП(б)». Можно ли к этому еще что-нибудь добавить? (В зале оживление). Как вы видите, неожиданная метаморфоза превратила этот коллективный труд в книгу, написанную Сталиным. Нет никакой надобности пояснять, как и почему имела место подобная метаморфоза».

Я останавливаюсь на этом так подробно, потому что это «История» партии и потому что на основе этой «Истории» создалось мнение, будто коммунистическая партия (в своей организационной структуре и в вопросах теории) являлась плодом мыслей и замыслов Ленина, подобно тому, как Афина Паллада явилась на свет из головы Зевса. Компартию даже прозвали «ленинской партией». Это было очень удобно, потому что такое название давало Сталину и его окружению возможность пользоваться авторитетом, каким наделяются верховные жрецы, оберегающие священный алтарь. «История ВКП(б)» полна ссылкой на труды Ленина, якобы игравшие «основную и решающую» роль в создании

идеологии и структуры «новой партии», — однако единственную попытку уточнить сущность этой «новой партии» можно усмотреть лишь в следующих туманных словах Сталина (если он действительно был автором «Истории»):

«После изгнания меньшевиков и оформления большевиков в самостоятельную партию, партия большевиков стала крепче и сильнее. **Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов** — в этом один из лозунгов большевистской партии, как партии нового типа, принципиально отличной от социал-демократических партий Второго Интернационала. Партии Второго Интернационала, называя себя на словах марксистскими, на деле терпели в своей среде противников марксизма, открытых оппортунистов и дали им разложить, погубить Второй Интернационал. Большевики, наоборот, вели беспощадную борьбу с оппортунистами, очищали пролетарскую партию от скверны оппортунизма и добились того, что создали партию нового типа, ленинскую партию, завоевавшую потом диктатуру пролетариата.»

Эта цитата (не слова Ленина) является тем единственным определением коммунистической партии, которое имеется в «Истории». «Краткий курс», кем бы он не был написан, был отредактирован, если я не ошибаюсь, в 1938 году. Американское издание, выпущенное Международным Издательством, появилось в 1939 году. Опубликование книги последовало за серией «чисток» партии, которые представлены в книге, как «ликвидация бухарино-троцкистской шайки шпионов, вредителей и изменников родины». И на руках людей, написавших «Историю», еще были свежие следы крови, пролитой ими во время казней, а стоны пытаемых и убиваемых жертв еще звучали сладкой мелодией в их ушах.

Приведенная выше цитата является лишь подтверждением факта существования партии, и отнюдь не объясняет, чем партия должна была быть по замыслам Ленина или кого-нибудь другого. Приведенное определение говорит лишь о том, во что партия превратилась в руках Сталина и окружавших его палачей.

Совершенно верно, что Ленин, проектируя создание в России новой революционной партии, настаивал, чтобы «подобная организация» (новая партия) состояла, главным образом, из людей, занимающихся революционной деятельностью **профессионально**. Однако, нет никаких данных, что он намеревался превратить партию в орудие в руках этих самых «профессионалов». И трудно предположить, чтобы Ленин когда-либо думал о создании организации, которая обратилась бы в самодовлеющую бюрократическую машину, состоящую из такого рода «профессионалов».

Не так давно ряд коммунистов, одни из которых получили большой опыт в России, а другие были умудрены годами и знаниями, уверяли меня, что в последние дни своей жизни Ленин был в ужасе от тех тенденций, которые стали развиваться в партии. Но это, быть может, только личные предположения указанных коммунистов, основанные

на слухах. Если Ленин и писал что-нибудь в таком роде, то записки несомненно были уничтожены. И само собой разумеется, что подобного рода заявления никогда не делались официально в прошлом, и вряд ли их можно ожидать в будущем.

Теперь я попытаюсь описать организационную структуру и деятельность коммунистической партии, насколько они мне известны по Соединенным Штатам.

Чтобы иметь ясную картину о том, что представляет собою коммунистическая партия, лучше всего начать ее изучение с фундамента и постепенно подниматься к вершине, ибо партия, фигурально говоря, является монолитным сооружением в форме пирамиды. В рамках своей организационной структуры партия приспособлена к различного рода зигзагам и отличается чрезвычайной гибкостью. Но каковы бы ни были эти зигзаги в зависимости от страны или от периода времени, организационная структура и принципы действия партии, в основном, остаются теми же самыми. Здесь я описываю коммунистическую партию Соединенных Штатов после второй мировой войны, но я убежден, что подобная же картина в то время наблюдалась и в компартиях других стран.

Фундаментом партии являются отделения. Профессиональные антикоммунисты обыкновенно называют их «ячейками» или «первичными парторганизациями», но эти названия только своего рода штампы, ничего не объясняющие по существу. По американской терминологии отделения следовало бы называть «клубами», потому что, строго говоря, они клубами и являются. Их можно приравнять к американским политическим клубам. Они могут быть различной величины, в зависимости от обстоятельств; состав их может колебаться от пяти до ста с лишним членов. Входят в клубы, преимущественно, рядовые члены партии; вожди посещают их очень редко. Организуются клубы для объединения жителей какого-нибудь района, рабочих той или иной фабрики или профессии. Они являются местом встреч, отдыха и одновременно базой для низовой политической работы. Большинство людей, которых эти клубы объединяют, искренне преданы общему делу и относятся к нему с величайшей добросовестностью. Но в них имеется также некоторое количество неудачников, маньяков, а также людей не вполне нормальных. Впрочем это характерно почти для всех подобных организаций в Америке.

Клубы сосредотачивают свое внимание прежде всего на вопросах и интересах их непосредственного района и часто их работа бывает хорошей и конструктивной. В большинстве случаев они стремятся к удовлетворению нужд и потребностей людей, им известных, и неутомимо борются за удовлетворение этих нужд. Они встречают на своем пути большие затруднения и очень часто бывают не в состоянии их преодолеть.

Члены таких клубов не являются «профессиональными революционерами», среди них нет ни одного платного партийного чиновника. Их работа, в большинстве случаев, добровольная, в точном смысле этого слова; многие из них, трудясь неутомимо, не только полностью преданы своему делу, но и испытывают, я бы сказал, чувство прекло-

нения перед святостью и благородством той цели, служению которой себя отдали.

Это нужно осознать, ибо иначе нет смысла дискутировать с коммунистической партией. Возможно, компартия потому именно и представляет собою величайшую загадку нашего времени, что большинство некоммунистического мира смотрит на нее с предубеждением и предвзятым недоброжелательством. Но если бы компартия олицетворяла собою только злое начало, в нее не вступали бы добровольно миллионы честных, порядочных людей. За такую организацию никто бы не боролся и не жертвовал собою. Рядовые коммунисты, в большинстве случаев, являются также и убежденными патриотами, — очень часто это проходит красной нитью во всех их поступках.

Может быть, именно вследствие ярко выраженной преданности делу, рядовой коммунист соглашается на подчинение той железной дисциплине, которая отличает его партию от других, и которой мир никогда не видел раньше. Эта дисциплина является тем стержнем, который пронизывает всю монолитную структуру партии и является основой единства мыслей и действий ее членов. Рядовой коммунист судит партию по своему личному к ней отношению; свою личную неподкупность, в продажном зачастую обществе, как и другие свои личные качества, он переносит на организацию. Свое личное самопожертвование нередко заставляет его рассматривать партийных вождей в проекции будущего, а не настоящего; своя собственная интеллигентность, вдумчивость и пронизательность зачастую заставляют его рисовать себе вождей партии, как людей одаренных почти божественной мудростью. Не нужно спекулировать словом «интеллигентность». Если люди принимают ряд предпосылок, их нельзя упрекать в том, что они оперируют необоснованными фактами; их можно упрекать лишь в отсутствии логики, в неумении надлежащим образом использовать свои умственные способности. Другими словами, у них отсутствует критическое отношение к фактам и способность делать из них логические и рациональные выводы. Когда рядовой член партии сравнивает свою честность и идейность с разгулом гонений и клеветы, царствующим в некоммунистическом мире, он приходит к выводу, который несет в себе проклятье и гибель всех фанатиков, — а именно, к уверенности в своей правоте. И чем больше вырастает убеждение в этой правоте, тем больше логика и разум уступают место религиозному фанатизму. Коммунистическая партия становится для него божьим храмом. И если человек до этого был атеистом, то теперь в нем происходит резкое изменение; он отрекается от старых богов, если они у него были, но начинает поклоняться новому богу и, вместе с этим, подчиняется той железной дисциплине, которая связана со служением этому богу.

Дисциплина в коммунистической партии устанавливается и поддерживается добровольно, но эта добровольность является следствием немолчаливого дамоклова меча — угрозы исключения из партии. Без этого, почти мистического, фактора коммунистическая партия не могла бы существовать в своей теперешней форме. До того, как Хрущев сделал свой секретный доклад, исключение из партии было равносильно вечному проклятию. Ваше тело еще живет, но душа уже умерла для вечности. Это убеждение среди членов партии было настолько сильно, на-

столько широко распространено, что миллионы некоммунистов считали каждого, исключенного из партии, пропащей и проклятой душой, продажным и опасным человеком, которого нельзя больше пускать в приличное общество. Вероятно, никакая религия в истории человечества не пользовалась такой властью проклятия над изгнанными; и никогда изгнанники не верили так искренно и убежденно в неизбежность адских мучений, следующих за изгнанием.

Для искреннего и преданного коммуниста изгнание было почти равносильно смерти, даже хуже. Очень трудно, почти невозможно объяснить непосвященным людям, что значит исключение из партии. Много лет миллионы добродетельных американцев считали, что человек, изгнанный из коммунистической партии, был или полицейским шпионом, или подлецом. Исключенные становились отверженными не только в глазах членов партии, но и в глазах прогрессивных кругов, во много раз более обширных, чем партия. Такую концепцию умышленно создавали и поддерживали все коммунистические партии, так как она являлась основой партийной дисциплины. Без ритуала изгнания и без соответствующей ему мифологии коммунистическая партия не была бы тем, чем она есть сейчас. Изгнанный коммунист становится проклятым еретиком. Он должен жить под запретом, как в средние века. Излишне упоминать, что многие из исключенных были виновны лишь в независимом образе мыслей.

Говоря об исключении из партии, я имею в виду не ту его разновидность, которая применяется в России, где исключение, по свидетельству Хрущева, нередко сочетается с пытками и смертью. Я имею в виду исключение из компартии в некоммунистическом мире, где это происходит без применения насилия. Такого рода изгнание не может быть приравнено к отлучению от церкви у католиков, так как церковное отлучение лишает человека спасения души, но не исключает его из общества в этом мире. Исключение же из компартии именно приводит к последнему. В то время, как некоммунисту прощается многое, бывший коммунист, изгнанный из партии, в глазах общества часто становится презираемой, одиозной фигурой. Господин Менкин, человек мудрый и осторожный, сказал мне, что он не может скрыть своего отвращения к бывшим коммунистам, — до такой степени он загнипозитизирован теми инсинуациями, которые партия распространяет в отношении исключенных из ее рядов.

Диего Ривера, являющийся, по моему мнению, одним из лучших мексиканских художников, с момента исключения из партии жил под тяжелым гнетом. Он старался делать, что мог, для коммунистов, делал очень много, но все это было ни к чему. Он очень хорошо знал, что его исключение было вызвано личной мезтью, и тем не менее даже его положение — гиганта среди своего народа — не могло рассеять той тени, которую набрасывало на него исключение из партии.

Несколько лучше обстоит дело в случае добровольного выхода из партии. Но даже происходящие сейчас в Советском Союзе и в странах сателлитах события, о которых в течение последних полутора лет мы получаем многочисленные свидетельства, не смогли повлиять на пересмотр вопроса о выходе из партии. Многие серьезные и испытанные члены партии правильно и хорошо поняли, почему я сделал то, что

сделал. Но лица, стоявшие далеко от партии и только симпатизировавшие ей, осудили меня по тому шаблону, о котором я говорил раньше.

Так, например, я получил письмо от двух старых друзей, которые никогда не были членами партии. Они знали о ней и о ее внутренней организации только по наслышке и, тем не менее, они отнеслись к моему поступку с исключительной упрощенностью и легкомыслием.

«Если ты, Говард Фаст, не удовлетворен техникой коллективизации, планирования и координации, выработанной в настоящее время в Советском Союзе или в других странах, где производится социалистическое строительство, то для тебя есть три возможности: 1) вступить в ряды контрреволюционеров, стараться задержать этот процесс и ликвидировать его; 2) принять участие в строительстве социализма в Китае, Индии или Югославии; и наконец 3) посвятить оставшиеся годы своей жизни на разработку планов, лучших чем те, которые выдвинуты коммунизмом. Мы понимаем, что тебе, как художнику слова, хочется творить без контроля и вмешательства. Это вопрос личного порядка, имеющий большое значение для тебя, но для нас, для человечества, существуют вопросы более важные. . .»

Если даже признать, что существуют вопросы более важные, чем личная свобода, чем защита народа от массового насилия и убийства, чем право народа выбирать свою собственную форму правления — право, которое было отнято у венгров путем голого насилия, — то все же надо сказать, что мои заявления были направлены только против аппарата коммунистической партии. Однако, таковы сила и проникающее повсюду влияние партии, что миллионы порядочных людей во всем мире отождествляют партию с социальным прогрессом в его различных формах. В мире, так резко и так определенно разделенном на два лагеря — прогресса и реакции, — критика партии не достигает цели, ибо партия выставляет себя защитником прогресса. И тот, кто оставляет партию, не только переходит в противоположный лагерь, но, как это изображает партия, становится в «другом лагере» наиболее отъявленным реакционером.

Если не учитывать психологической силы такого влияния компартии, читатель не сможет получить ясного представления о значении коммунистической дисциплины. Никогда в истории человечества не существовало подобной организации, которая имела бы смелость приписывать себе все достижения прогресса и которая, в то же время, обладала бы таким могуществом в деле уничтожения и разгрома всех, кто осмеливается бросить ей вызов. Эта организация в представлении миллионов отождествляется с надеждами человечества на будущее; и если кто осмеливается сказать, что будущее такого рода — это нечто беспощадное и аморальное, тот в глазах этих людей немедленно становится самым подлым и презираемым существом, становится контрреволюционером.

Так применяется дисциплина в отношении партийных масс, являющихся основой партии.

От основы до вершины партийная пирамида строится следующим образом. Известное число отделений объединяются в **секцию**. Величина секции не ограничена и определяется организационными соображениями — количеством населения в данной местности или районе, чи-

слов людей в отдельной отрасли промышленности или торговли, в той или иной профессии. На уровне секции впервые появляются «профессиональные» революционеры — платные партработники. Яркий эпитет — «революционеры» — к ним, впрочем, мало подходит. Даже если эти люди и были когда-то революционерами, то они быстро превращаются в обыкновенных бюрократов.

Руководитель секции называется партийным организатором. Он является штатным партийным работником, находящимся на жаловании, — за исключением тех моментов, когда партия переживает денежный кризис. Но даже и тогда для него находится какое-то вознаграждение. Если секция небогатая и бедная, то она имеет только одного такого партийного чиновника. Если же секция богатая и располагает достаточными денежными поступлениями от ее членов, которые обычно дают больше, чем это им позволяют их средства, то добавляется штатный секретарь по оргвопросам, также полностью оплачиваемый, а часто и третий платный партработник, заведующий политпросветработой. Эти партработники — один, два или три, в зависимости от конкретного случая — являются звеном, связывающим партийные организации с вершиной пирамиды. Они руководят секцией и — хотя работают в составе секционного комитета, в который входят представители отделений — их главная задача заключается в том, чтобы доводить до низов партийной пирамиды директивы свыше — столь же точно и плавно, как лифт в хорошем доме. В этом они большие мастера. Они ведут постоянную, неутомимую внутреннюю пропаганду, организуют лекции, занятия, собеседования с членами организации, специальные митинги, раздают литературу, проводят так называемую «разъяснительную работу». Их толкование текущих событий и партийной линии очень похоже на толкование Священного Писания.

Это — низшее и наиболее активное партийное начальство. Для многих рядовых членов партии оно часто является и единственно известным начальством. Многие из этих партийных чиновников честные и убежденные члены партии. Они существуют на очень маленькое жалование и не имеют тех привилегий, которыми пользуются стоящие наверху пирамиды. Обычно они находятся в постоянном контакте с партийной массой, — если в их обязанности не входят сношения с некоммунистическим миром. Однако, есть среди них и такие, которые почти сразу же превращаются во властолюбивых бюрократов, сеющих семена, созревающие позже. На них со страшной силой давит сознание, что, поскольку они являются чиновниками, их жизнь, судьба и будущее всецело зависят от уровня их положения в партийной пирамиде. За исключением тех редких случаев, когда партначальники удовлетворяются занимаемым положением, — они могут продвигаться лишь вверх и тогда скоро постигают, что им нужно для подобного продвижения. Над ними нет рядовых коммунистов, а только штатные партийные бюрократы. Они выполняют двоякого рода функции — проводят в жизнь директивы, принятые сверху, и представляют в вышестоящие звенья отчеты о происходящем в низовых организациях.

В описываемое мною время в больших индустриальных штатах, где партия имеет довольно большое число членов, — как например, в Нью-Йорке, Пенсильвании и Иллинойсе, — секции были соединены в

районы, с той же системой партруководства, но в районах этих было, конечно, больше должностей — например, заведующий профработой, заведующий печатью и так далее. Общее руководство сосредотачивалось в руках **областного** начальства, а область состояла из районов и секций. В большинстве случаев область совпадала с территорией штатов. Значение областного руководства зависело от величины и численности организации. В некоторых ведущих областях имелись значительные партийные аппараты с большим числом служащих. Там издавались газеты и брошюры, работали книжные лавки, проводились другие партийные мероприятия. Я думаю, излишне упоминать, что сейчас, когда коммунистическая партия США стала чрезвычайно малочисленной, всего этого уже нет.

Над областными организациями, на вершине пирамиды, находился бюрократический аппарат — **ЦК американской компартии**. Эта партийная верхушка управляла партией через свои областные и низовые организации — официально от имени обширного общенационального комитета партии. Комитет этот, по своей идее, не должен был состоять только из партийных чиновников областного и общенационального ранга, в него должны были входить также руководители профсоюзов и представители культурных слоев общества. Однако, на практике он ограничивался кругом платных чиновников. И эти последние, входившие в Центральный Комитет и его представлявшие, далеко не всегда принадлежали к верхушке пирамиды. Центральный Комитет избрал из своей среды свое собственное руководство, которое состояло из секретаря ЦК и **секретариата**, на обязанности которого лежало ведение текущих дел партии.

Но, как в Советском Союзе и других странах, так и в Америке секретарь ЦК партии становился диктатором, господином положения и руководителем всей партийной машины.

14.

В теории коммунистическая партия демократична, и ее называют наиболее демократической организацией из всех когда-либо существовавших в мире. Она построена по принципу **централизма** — и поэтому характер ее структуры называют с оттенком известной иронии **демократическим централизмом**. Считают также, что центральное руководство Американской компартии выбирается на съезде партии, в котором принимают участие делегаты всех партийных звеньев. Однако, поскольку мне известно, выборы членов в Центральный Комитет никогда не производились без рекомендации секретариата ЦК и его первого секретаря. Только однажды, а именно во время последнего партийного съезда, было сделано отступление от этого правила — когда фракция Гейтса вступила в борьбу с фактическим руководством партии. В деле Браудера также действовали посторонние силы. Если даже партию всецело предоставить самой себе, то орденская спаянность, ритуальность действий и пронизывающая ее железная дисциплина обеспечат избрание тех, кого наметили наверху. В теории секции и области сами могут выбирать или менять свое руководство, но в действительности это производится только по рекомендации и с одобрения верхов. Я знаю несколько случаев, когда центральное руководство назначало секретарей областных комитетов даже без согласования с областным руководством.

Центральный аппарат партии действует через свои комиссии и из своего состава избирает их председателей. Около дюжины оплачиваемых бюрократов, с большим или меньшим весом, работают в отделах бюрократического аппарата, составляющего вершину пирамиды; они назначаются сверху — и места, которые они занимают, и авторитет и престиж, которыми они пользуются, они получают по милости вождей за свое послушание и ревностное выполнение их заданий. Генеральный секретарь имеет право по своему усмотрению отрешить от должности любого областного руководителя и, конечно, любого руководителя секции. Наличие такой неограниченной власти и применение ее на практике является фактом, хотя такое положение и противоречит конституции партии. Теперешнее руководство партии упорно оспаривает это, но всякий, кто имел опыт в партийных делах, неоднократно сам видел применение на практике этого принципа.

В теории генеральная линия партии по всем главным вопросам определяется путем общих дискуссий, в которых участвуют члены партии. Результаты дискуссий представляются партийному руководству, которое на их основе и строит свою генеральную линию. На этом

построено утверждение о наличии в компартии внутрипартийной демократии. На практике, однако, окончательные решения всегда вырабатываются на верхах, до начала дискуссии. Иногда такое решение выносится на заседание Центрального Комитета, иногда принимается секретариатом ЦК, но очень часто принципиальные вопросы решает лично генеральный секретарь, власть которого неограниченна. Он выработывает резолюцию и передает ее Центральному Комитету на обсуждение, а тот после дискуссии выносит свою резолюцию, якобы по своему разумению, но в действительности совершенно идентичную с резолюцией генерального секретаря. Весьма возможно, что в прошлом были случаи отступления от этого правила, но во время моего пребывания в партии дело обстоит именно так. После этого резолюцию обыкновенно передают для рассмотрения членам партии и несколько специально отобранных лиц, в большинстве случаев партработники, по данным свыше установкам разворачивают дискуссию в партийной печати. До Гейтса, как известно, партийная печать полностью зависела от воли и каприза генерального секретаря.

Партийные дискуссии обычно ведутся платными партработниками, главная обязанность которых заключается в том, чтобы ликвидировать любую оппозицию — всяческими способами, вплоть до исключения из партии, если это понадобится. И хотя дискуссии могут длиться неделями, они, в сущности, не стоят и выеденного яйца. Результаты дискуссии в конечном итоге всегда точно отражают линию, намеченную первоначальной резолюцией, иногда с небольшими формальными изменениями, сделанными для того, чтобы члены партии не чувствовали себя окончательно дураками, которых водят за нос.

Почему же при таком, совершенно ненормальном, положении партийная машина все-таки не разваливается? Прежде всего благодаря мистическому ужасу, который испытывают члены партии перед угрозой исключения из партии и перед сопутствующими этому исключению неприятностями. Во-вторых, благодаря ловкости партийных чиновников, которые прилагают все усилия, чтобы убедить рядовых коммунистов в божественной мудрости и доброте партийных вождей. И, наконец, благодаря вере рядовых коммунистов в то, что партия представляет собой храм добродетелей. Ясно, что в странах, где коммунистическая партия держит власть в своих руках, самым надежным средством для поддержания дисциплины являются пытки и казнь.

В буржуазных партиях «старого типа» также применяются различные тактические ходы, но, благодаря отсутствию в них дисциплины и мистического начала, партии эти всегда раскалываются, когда возникают противоречия между целями и интересами рядовых членов и вождей. Когда же противоречия особенно обостряются, они обычно приводят к компромиссам и, таким образом, восстанавливается тот демократический дух, который создает внутрипартийную активность. Фашисты, фашисты и нацисты также создавали партии нового типа, со своей специфической дисциплиной. И хотя не может быть никакого сравнения между этими последними и компартией, самый факт наличия у них подобной дисциплины наводит на серьезные размышления.

Некоторые читатели станут решительно возражать против моей характеристики компартии и будут основывать свои возражения на

секретном докладе Хрущева. Но в то время, когда нацистская партия соответствовала духу руководимого ею общества, коммунистическая партия везде, где социализм существует как экономическая система, встречает огромные противоречия между собою и обществом, в котором она существует. Эти противоречия не могут длиться бесконечно и должны быть разрешены. В результате — основные социальные силы в очень короткое время (если время рассматривать в исторической перспективе) начнут действовать против компартии с такой силой и с такой интенсивностью, что она должна будет перестать существовать. Потребности экономического роста и динамика развития социалистической экономики требуют наличия целых поколений образованных людей — ученых, специалистов, художников — людей, назначение которых заключается в оперировании с реальными фактами и в исследовании природы реальных вещей. В числе реальных вещей, с которыми они должны столкнуться, находится и коммунистическая партия. И они, конечно, подойдут к ней как гуманисты, как люди, которые любят радости жизни и ненавидят страх, суеверие и невежество, скрывающиеся в партийной догме.

В конечной стадии определения генеральной линии по тому или иному вопросу — партия требует от своих отделений и средних звеньев, чтобы дискуссия заканчивалась единодушной демонстрацией внутреннего единства. И тут уже маска демократизма цинично сбрасывается и тоталитарная сущность обнажается в ее неприкрашенном виде.

Таким образом, мы рассмотрели и проследили два главных течения, две главные силы, действующих друг против друга внутри партии. Одна из этих сил представляет собою массу рядовых членов, готовых на самопожертвование, преданных делу и заигнотизированных миражем социализма, справедливости и всеобщего братства людей. Влияния партии и внешнего мира толкают партийную массу на путь религиозного служения партии, ограничивают кругозор этой массы, превращают ей сознание собственной правоты. Происходит как бы превращение партийцев в священнодействующих жрецов, партии — в храм, а партийных вождей — в богов. Это не только красочное сравнение, это — совершенно определенный факт. Я сам прошел через подобный процесс и он мне хорошо известен.

В то же время партийное руководство действует в совершенно ином направлении. Партийные руководители являются маленькими божками для членов партии, находящихся под ними, и жрецами-священнослужителями для партийцев, стоящих выше их. Если это люди с совестью, мягкие и честные, как это нередко случается, они никогда не смогут преуспеть в том лихорадочном соревновании, которым сопровождается продвижение на верхи. Лавры пожинает не тот, кто смел, находчив, человечен и одарен воображением, а как раз наоборот. Экзаменом является догма. Критерием — ортодоксальность, методами — непреклонность и жестокость. В добавление к этому необходимо умение держать нос по ветру, умение лавировать во внутрипартийной борьбе, терпение и выдержка, — чтобы во время стать на сторону победителя. Необходимо обладать толстой кожей, наплевательски относиться к нуждам людей и быть беззаветно преданным генеральной линии. Самая большая опасность на этом пути — это оказаться не-

правым, и поскольку правота или неправота связана лишь с генеральной линией, необходимо дипломатично избегать определенных решений и занимать нейтральную позицию, чтобы иметь возможность во мгновение ока переметнуться на другую сторону.

Нельзя не упомянуть о деле Эрла Браудера. Я пришел к заключению, что, за исключением случаев личного соперничества, вожди коммунистической партии сменяются только в том случае, если их пребывание на своем посту угрожает интересам или существованию партии. Всякий, кто пожелает познакомиться с историей внутривнутрипартийной борьбы в Советском Союзе (очень длительная и весьма утомительная работа), увидит, что в каждом случае такой борьбы существование партии в ее сталинской форме находилось под ударом. Когда верховный жрец угрожает храму, его убивают. В основе концепции Браудера лежала необходимость ликвидации партии, и его значение было настолько велико, что он мог сделать начальные шаги для развала партийной организации. Если бы это ему удалось, то в какую бы форму не вылилась в будущем организация американской компартии, она никогда больше не была бы «новой партией». Письмо Дюкло дало соперникам Браудера возможность сделать то, к чему они стремились: устранить Браудера и восстановить храм и касту жрецов.

Во время недавней внутривнутрипартийной борьбы, о которой я писал, блестящая защита «браудеризма» со стороны рядовых членов партии была наиболее убедительным материалом, полученным в результате дискуссии. Стоявшие тогда во главе партии вожди не щадили сил, чтобы замаять появление этого материала и уничтожить его.

Прежде чем мы оставим эту тему, мне кажется интересным и нужным нарисовать типичный портрет партийного вождя, ибо каждый вождь — продукт партии, если партия построена по сталинскому образцу. Именно он забрасывает грязью страницы истории и опошляет радужные мечты человечества. Я видел сотни этих вождей во многих странах. Я наблюдал их деятельность в самой разнообразной обстановке, среди рабочих и домохозяек, среди интеллигентов и специалистов, среди фермеров и молодежи. Я наблюдал их при различных обстоятельствах и наблюдал с особенным вниманием.

Обычно партийный вождь не является выдающейся личностью и о нем нельзя судить по буржуазным меркам. Он холоден по натуре и в обращении. Он не способен подойти к человеку по-дружески, с открытой душой. Он очень осторожен и тщательно обдумывает слова, прежде чем их высказать. В некоторых случаях, по определенному расчету, вождь может и улыбнуться, может, вопреки своему обыкновению, и поболтать немного с лицом, которое его интересует. Но вообще он чувствует себя несколько неловко во время светских разговоров.

Если спрашивают мнения по какому-либо вопросу и интересующийся является более или менее важным лицом, вождь становится в позу и, глядя куда-то вдаль, декламирует одну из тех шаблонных истин, которые у него всегда находятся в запасе. Если вопрос касается чего-либо, не связанного с партийной линией, вождь старается увильнуть от прямого ответа. Если же предмет разговора касается партийной линии, он, точно следуя догме, говорит не обычным нормальным

языком, а напыщенными фразами, какими говорят священнослужители

На собраниях вождь очень осторожно и неизменно говорит последним, за исключением тех случаев, когда присутствует другой вождь, старше его по рангу. В этих случаях, склоняясь перед авторитетом начальства, он выступает предпоследним. Однако, если он ведет игру за власть, он приложит все усилия, чтобы оказаться последним оратором. Так как обычно три четверти жизни вождя проходят на заседаниях и собраниях, он прекрасно понимает тактические преимущества выступления последним. Прежде всего это дает возможность продемонстрировать свои превосходство и беспристрастность. Фактом того, что вождь терпеливо выслушивает всех ораторов, подчеркивается его уверенность в себе. Затем, последнее выступление позволяет определить позиции и значение участников дискуссии и их шансы на победу — с тем, чтобы присоединиться к более сильной группе и нанести противной, более слабой стороне сокрушительный удар. Он стремится к тому, чтобы установить критерий «правильности». Это его основная цель, — ведь Сталин всегда был прав.

Осторожность вождя проявляется всегда, когда он говорит или пишет. Он боится собственного мнения, как грешник черта. В целях безопасности он не выступает из рамок высочайше установленных истин и всегда старается подкрепить свою позицию цитатами из Маркса, а еще лучше из Ленина. Во время внутривластной борьбы он выжидает, пока его сторонники подготовят атаку, и затем бросает все имеющиеся в его распоряжении средства для нанесения противнику сокрушительного удара. Он всегда стремится обеспечить себе поддержку других, потому что не из тех, кто сражается в одиночку. Речь свою он любит начинать словами: «Как указал товарищ такой-то», зная, что «товарищ такой-то» запомнит это и в свое время окажет ему такую же услугу.

Наиболее выигрышный момент наступает для вождя тогда, когда он чувствует, что может безнаказанно «разделаться» с оппонентом. Это для него настоящее наслаждение. Наступает такой момент обычно тогда, когда, выступая на собрании или митинге, оппонент настолько неумен или честен, что идет против большинства. Однако, вождь не обходится с ним «резко» до тех пор, пока не убедится, что тот идет ко дну, что он изолирован и одинок. Быть «резким» иногда опасно. Многие партийные вожди сплотнулись, применяя этот прием преждевременно, без учета всех обстоятельств. Обыкновенно вождь выжидает, пока один или два из его сторонников не подготовят почву своими резкими выступлениями. После этого на арену выступает вождь, чтобы нанести последний и решительный удар. Сдерживающих начал больше нет и человек, казавшийся образцом ледяной сдержанности и умеренности, вдруг начинает говорить горячо и страстно. Он выливает на своего противника ушаты презрения, негодования и сарказма. Он становится, действительно, страшным. В тех странах, где вождь представляет собой власть, — его обвинения означают тюрьму или смерть. Он буквально полон святого гнева и сверкает белизной из. В капиталистических странах он может лишь морально уничтожить своего противника и делает все, от него зависящее, чтобы унижить

оппонента, повергнуть его в прах, погубить его карьеру, превратить его в пария. В других случаях партийный вождь будет добиваться от противника покаяния, униженных просьб о прощении или же потребует исключения его из партии.

Все это способствует созданию вокруг вождя ореола всеведения — и, в результате, его жизнь наполнена стремлением придать этому ореолу еще больше блеска. Врожденная узость взглядов ограничивает его кругозор, его умственный багаж граничит с невежеством, он никогда не бывает интеллигентом в подлинном смысле этого слова.

Если бы он обладал подлинной мудростью, он, конечно, презирал бы свои собственные слова. Его марксистская догма не может замесить живой мысли. Но, тем не менее, ореол всеведения является необходимой принадлежностью той роли, которую он должен разыгрывать, карабкаясь на вершину партийной пирамиды.

В запасе у вождя множество трюков, которыми он пользуется с утомительным постоянством. В тех случаях, когда он должен выслушивать рассуждения, лежащие выше его понимания, о которых он не рискует составить собственное мнение — а последнее случается довольно часто, — он предпочитает с «ученым видом знатока» затягиваться трубкой и не говорить ни слова. Когда председатель собрания почтительно спрашивает, не пожелает ли вождь что-нибудь прибавить к сказанному или суммировать сказанное, он со снисходительной улыбкой отрицательно качает головой. Это должно производить впечатление, что он мудро решил дать возможность другим разобрать вопрос самостоятельно. В то же время это создает ему репутацию демократа, который никогда не навязывает другим своего мнения.

А вот другой тактический прием. Вождь объявляет, что из-за позднего времени он изложит свою точку зрения на следующем собрании. Это не только дает ему отсрочку в несколько дней, чтобы разобраться в обстановке, но и устанавливает за ним репутацию спокойного и терпеливого человека.

Имеются и иные методы. Вот, например, вождь, как хищник, подстерегающий жертву, внимательно вслушивается в речь докладчика, выжидая, когда прорвется какая-нибудь фраза, которую можно истолковать, как возможный «уклон». Ухватившись за нее вождь с остервенением набрасывается на докладчика и придает одиозной фразе такой чудовищный смысл, что все остальное отступает на второй план. Теперь он выступает в качестве неустрашимого защитника чистоты генеральной линии. Да и не может быть лучшей репутации у партийного вождя, как репутация человека, посвятившего себя защите генеральной линии.

В вопросах искусства и в вопросах специальных вождь встречается с наибольшими трудностями, так как у него отсутствуют необходимая подготовка и знания. Нет у него и чуткости, чтобы правильно судить о литературных или художественных произведениях. Но и в этих случаях у него, опять-таки, имеется несколько надежных и испытанных правил. Во-первых, всегда имеется какой-нибудь советский авторитет, вроде Жданова (если вождь в состоянии разобраться в его запутанной логике). Но даже и без этой помощи партийный руководитель справляется со своей задачей. Внимательно прислушиваясь к

прениям и зная приблизительно, насколько высказывания каждой из сторон близки к партийной линии, он всегда может решить, кто из участников спора проявил требуемую партией ортодоксальную узость мышления и идейную выхолощенность. Определив таким образом, кто оказывается «правым», он «присоединяется» (как это принято говорить на партийном жаргоне) к «мнению» соответствующей группы. Он старается при этом создать впечатление, что именно он подсказал правильное мнение, но ни в коем случае не желает, чтобы честь принадлежала ему.

Это стремление к всеведению, красной нитью проходящее через все поступки вождя, убеждает его в том, что он действительно знает все; и даже мысль, что, может быть, он в чем-либо неправ, кажется ему невероятной. Он действует в согласии с ходячим в партии выражением: «Ну-с, товарищи, приступим к самокритике». Он знает, что марксизм является «незаменимым ключом ко всем вопросам».

Вождь выше толпы — слегка. Когда ему делают одолжение или говорят любезности, он считает, что благодарить ниже его достоинства. Это буржуазная привычка. Он представляет собой партию: вопросы о том, кто «берущий» и кто «дающий», относятся к вопросам политического «реализма». К тому же в течение долгих лет вождь потерял привычку к обычным человеческим чувствам: его «внимательность», его «правота», его страх поскользнуться при восхождении к вершине пирамиды, недоверие и подозрительность, которые сопровождают его на пути к власти — все это соединяется воедино — чтобы сделать для него невозможным нормальное общение с людьми. И в их присутствии он чувствует себя натянуто и неловко.

У вождя нет друзей. Он убедил себя, что равенство между людьми несовместимо с «демократическим централизмом». Для того, чтобы иметь друзей, необходимо признать равенство, а это поставило бы под угрозу его авторитет и положение в партии. Кроме этого, есть и другие основания, по которым дружба для него невозможна. Дружба требует разговоров по-душам, а разговоры по-душам — это роскошь, которую вождь не может себе позволить. Зная, что откровенные разговоры очень опасны — он избегает их. Он может говорить только «по-партийному». Это значит, что все вопросы жизни, каждая обыденная мелочь должна трактоваться с точки зрения догмы, этого своего рода Священного Писания. Это значит, что вождь перестает быть человеком, перестает действовать и реагировать, как все другие.

Вождь никогда не бывает «субъективен», так как быть субъективным — это значит реагировать на чувства обиды, на чувства гордости, а проявлять эмоции, с точки зрения партии, является непростительным грехом. Процесс подчинения личности в партии настолько всеобъемлющ и настолько согласован со всей структурой партии, что и вождь, как видим в случае с товарищем Кедровым, неизбежно и всецело подчиняется ему. Даже если он приходит к власти, свое личное «Я» он низводит к минимуму.

Вождь обыкновенно женат, но почти никто из рядовых коммунистов не встречался с бесцветной, серой, утомленной женщиной — его женой. Когда он появляется на торжественных собраниях, устраиваемых партией, когда его приглашают в общество — дипломатическое

или другое — как представителя партии, почти неизменно он приходит один. Это входит в круг его партийных обязанностей, а в них он не вмешивает свою жену. В тех редких случаях, когда жена присутствует, она молчит. Она может сказать: «благодарю вас», или кивнуть головой, но не осмелится высказать своего собственного мнения ни по какому вопросу. Для всех ясно, что в «политическом» отношении она не может быть на одном уровне со своим мужем. Почти наверное никто в партии не знает, есть ли у вождя дети. Об этом обстоятельстве тактично молчат.

В мире, в котором царствует коммунистическая мифология, существует лишь одна область, где вождю разрешается известный «уклон» и проявление чувства юмора — единственная область, в которой партия допускает некоторое «свободомыслие», — это так называемый «женский вопрос». Здесь коммунистическая теория расходится с практикой и вольные шутки не только допускаются, но и поощряются. Это — та область, в которой вождь может проявить свое чувство юмора. Он дает всем понять, что каким бы неумолимым и строгим апостолом будущего он не являлся в принципиальных вопросах, — в своем подходе к женщинам он обыкновенный, старомодный, не любящий новшества человек, готовый повеселиться и провести время по-старинке.

Я вспоминаю приезд советской делегации на конференцию, посвященную вопросам мира во всем мире, имевшую место в отеле Валдорф, в Нью-Йорке, в 1949 году. Вся работа по организации этой конференции несли на себе несколько молодых, неумолимых женщин, которые работали интенсивно, самоотверженно и с большим подъемом. И вот, когда они увидели, что в советской делегации нет ни одной женщины, они возмутились и обратились к писателю Александру Фадееву, который был политическим руководителем делегации. В весьма недвусмысленной форме они потребовали объяснений такого странного отношения к женщинам со стороны социалистического государства, на словах ратующего за разрешение «женского вопроса».

«Но мы разрешили женский вопрос» — ответил Фадеев с усмешкой. — «Для нас он больше не представляется вопросом».

Такая же смесь глупости, презрения и нахальства пронизывала все ответы на вопросы о правилах социалистического поведения — на вопросы, которые в течение моего пребывания в партии мы задавали советским представителям. В приведенном выше случае Фадеев действовал, как и подобает партийному вождю, и в его ответе звучали насмешка и презрение. А вот еще характерный факт. Во время заседания литературной секции конференции Мария Маккарти спросила Фадеева, что произошло с рядом советских писателей, имена которых были перечислены. Фадеев не только дал честное слово советского гражданина, что все упомянутые писатели были живы и здоровы, но и, не задумываясь, перечислил их должности и описал характер работы, которой был занят каждый из них. Он рассказал, где они жили, когда он их видел и как они смеялись над «капиталистической клеветой», что их преследуют. Его ответы были так убедительны и изобиловали такими подробностями, что нельзя не отдать должного творческой фантазии, проявленной в этом рассказе гораздо более ярко, чем в его книгах. Как председателю литературной секции, мне, конечно,

было неловко, что мисс Маккарти и ее друзья задают такому почтенному и именитому гостю неудобные вопросы. Его убежденность и глубокая искренность казались вне подозрений и, мне думается, не только я, но и мисс Маккарти и ее друзья в какой-то мере были убеждены, что он говорит правду. Так же, как я, они не могли себе представить, чтобы человек мог так невероятно лгать и уснащать свою ложь такими деталями — в надежде, что ему поверят.

И, тем не менее, все это от начала до конца была ложь. Об этом я узнал из рассказов польских и русских коммунистов восемь лет спустя. И все те лица, о которых Фадеев говорил так убедительно и с таким знанием подробностей, в то время, когда он говорил, были уже умерщвлены, замучены, расстреляны или находились в тюрьмах, где их пытали и били, и откуда им, как товарищу Кедрову, не суждено было выйти.

И все же Фадеев не был типичным партийным вождем, хотя он и был «начальством» всех советских писателей и членом Центрального Комитета КПСС. Морально опустившийся, с опустошенной душой и исковерканной совестью, заипнотизированный дьявольским миражем коммунизма, якобы несущим спасение человечеству, он все же оставался писателем, носителем творческого начала, все еще связанным невидимыми нитями со страданиями и муками человечества. Этого даже партия не могла изменить и, прослушав секретный доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС, Фадеев должен был взглянуть в то самое зеркало, отражавшее мрак и ужас действительности, в которое взглянули все мы, продолжавшие связывать себя с человечеством. Увиденное было, видимо, настолько ужасно, что он пьянствовал двенадцать дней подряд. Затем взял револьвер и пустил себе пулю в лоб.

Итак он умер, и да простит ему Господь или иной высший его Судья. Он не был вождем, он был всего лишь жалким существом, которое судьба поставила в невыносимое для него положение (настоящие вожди не стреляются, их уверенность в своей правоте, подобно броне, не имеет слабых мест).

Так, примерно, выглядит партийный вождь на верхних ступенях коммунистической лестницы. Обычно он мало располагает к себе и мне часто казалось, что он должен быть очень одиноким. В странах, где коммунистическая партия стоит у власти, он пользуется всеми материальными благами. В известной степени ему принадлежит вся страна и вся ее продукция. Ему стоит пошевелить пальцем, чтобы каждое его желание было удовлетворено. В капиталистических и колониальных странах дело обстоит иначе. «Грядущая утопия» все еще по ту сторону горизонта и партийный вождь должен удовлетворяться тем положением «государства в государстве», которое в этих странах занимает коммунистическая партия. И поскольку он может поддерживать дисциплину лишь путем психологического влияния на партийные массы, он вынужден жить скромно и не злоупотреблять своими привилегиями, чтобы не очень выделяться из массы.

В странах, где компартия маленькая и бедная, вождь живет скромно: в странах, где компартия большая и могущественная, он может позволить себе тот комфорт, каким располагают вожди коммунистических государств. Но, независимо от этого, он получает, примерно,

такое же моральное удовлетворение, какое испытывают главы государств, обладающие абсолютной властью. Он является высшей судебной инстанцией и от него зависят окончательные решения. Его директивы имеют силу закона и должны выполняться безоговорочно. Он может всячески себя прославлять. Однако, для всего сказанного необходим один фактор.

Вождя должна обуревать жажда власти, ибо партийное руководство почти не дает ему каких-либо иных преимуществ. Оплата низкая, привилегии незначительные, опасности большие, борьба очень тяжелая — но размеры власти огромны. И так как власть, сама по себе, действует опьяняюще и является одновременно и целью, и возбуждающим средством, то нет ничего удивительного в том, что Сталин, по свидетельству его же друзей, был параноиком. Обожествление вождей и сосредоточение в их руках всей полноты власти приводит к тому, что для них власть становится конечной целью и превращает их в параноиков. Эта ненормальная жажда власти может найти удовлетворение лишь на вершине пирамиды, на самом верху коммунистической лестницы. Пусть некоторых такого рода людей называют «великими», мир дорого заплатил за их «величие».

15.

Меня спрашивали, почему я так долго медлил, прежде чем покинуть партию. Неужели я ничего не знал о том, что в ней происходит? Задавшие эти вопросы представляли все очень упрощенно. Я вступил в партию, исходя, как и многие другие, из предпосылки, что мир, социализм и братство на земле могут наступить только благодаря коммунистической партии. Казалось, что некоторые исторические факты это подтверждали. Вступить в партию дело серьезное, а серьезные люди, раз приняв решение, не могут быстро и легко его менять.

То, что я написал в этой книге, я не мог написать через месяц или через год после вступления в партию. Меня не легко убедить, но и разубедить меня тоже не так-то легко. Потребовались годы для того, чтобы факты, случаи и личный опыт, о большей части которого я расскажу позднее, привели меня к принятому мною решению. И самым важным при этом был тот толчок, который дал секретный доклад Хрущева. Только при помощи этого толчка, который был дан из самого сердца коммунистической партии СССР, первой по своей величине и месту в мире, отдельные составные части картинка-загадки стали на свои места, составили единое целое. И даже тогда, несмотря на весь мой ужас и гнев, несмотря на все моральные страдания, которые доставил мне доклад, передо мною вставал вопрос — то, о чем сообщалось в докладе, было результатом личных отрицательных качеств или следствием исторически сложившихся организационных форм партии. . . Потребовались месяцы размышлений, чтения и споров для того, чтобы я пришел к окончательному решению. И потребовались другие месяцы сомнений, прежде чем я был в состоянии сколько-нибудь подробно написать об этом. Мне известно, что до сего времени никем не было сделано подобного анализа. И мне кажется, что такой анализ может иметь крупное значение. Я пишу о тех, кого я любил, и о тех, кого я ненавидел. Я пишу о достойнейших людях, которых я когда-либо знал, и я пишу о ничтожествах, о бюрократах, моральных и физических трусах, об упоенных властью параноиках.

Во время моего пребывания в партии я пользовался репутацией надежного человека, плохо поддающегося контролю. Я ничуть не стыжусь такой репутации, ибо это значит, что я живу своим умом-разумом. Двенадцать раз меня хотели исключить из партии и каждый раз мне удавалось опровергнуть возводимые на меня обвинения. Я не хотел быть исключенным из партии — вначале потому, что я верил в нее, а позднее, когда я в нее уже не верил, потому, что я не хотел быть изгнанным теми ничтожествами, которые боялись меня, хотели избавиться от меня и проклинали бы меня после исключения.

Я оставил партию по собственному желанию, потому что я пришел к тем выводам, о которых пишу. Я не разочарован, не подавлен, хотя и прошел через тяжелые испытания нашего времени, — времени, ознаменовавшегося гигантским движением человечества вперед. Несмотря на то, что коммунистическая партия очень хорошо дисциплинирована и в боевой обстановке зачастую ведет себя изумительно, я не думаю, чтобы она имела право приписать себе, как заслугу, наблюдаемые нами явления. Социализм, справедливость и братство людей представляют собой неуправляемые силы, они будут расти и развиваться, несмотря на коммунистическую партию и вопреки ей. И советский социализм не всегда будет покорно лежать под пятой комиссара.

В Америке слово «комиссар» переводится, как чиновник и как председатель, — но я думаю, что это одно из тех слов, которое лучше всего может быть объяснено тем содержанием, которое ему придают. Среди рядовых членов американской партии это слово употребляется как эпитет, выражающий пренебрежение к тем партийным вождям, которых они презирают. Таким образом, для его перевода нет подходящего слова. Слово «комиссар» здесь, как и в России, обычно означает — шпион, сторожевая собака; низший жрец, доносящий высшему жрецу; голос и уста, передающие изречения и веления догмы; блюститель обрядов; инквизитор, доносчик и неременный свидетель при казни.

Коммунистическая партия с ее догмой, с ее религиозными, псевдо-марксистскими прописями, с ее ненавистью к идеям и открытиям, с ее отрицанием творчества и изменчивости явлений, с ее сонмом жрецов, с ее храмами и недалекими, бесталанными богами, — коммунистическая партия не может считаться плодом цивилизации и порождением света, и поэтому — в обстановке всеобщего стремления к восстановлению и сохранению мира — дни ее должны быть сочтены. Члены партии, которые повсеместно тысячами и сотнями тысяч уходят из нее, начинают это понимать. Нельзя отделаться от тех из нас, кто говорит подобным образом, обозвав нас «троцкистами» или «агентами капиталистов». Мы будем говорить и нас будут слушать. Мы будем говорить во всеуслышание против всякой организации, которая приказывает людям убивать свой разум.

16.

Ссылки на «магию», делаемые мною на протяжении всей книги, сделаны всерьез, и потому я чувствую необходимость расширить эту тему. Слово «магия», как оно применяется в данном тексте, ни с какой стороны не имеет в виду тех театральных фокусов, которые обыкновенно определяются этим словом.

В антропологических исследованиях магией называется первобытная наука дорелигиозной эры развития человечества. На этой ступени прогресса магия (колдовство) играла роль современной науки, будучи для первобытного человека основным средством контроля и укрощения стихий, зверей и людей. Я не собираюсь обсуждать практической полезности магии и хочу остановиться только на ее целях. Я стремлюсь показать, что методы магии по существу своему материальны и ничего сверхъестественного не имеют.

В давние времена мистические или религиозные элементы магии были незначительными и самый процесс колдовства был главным образом материальным. По мере развития цивилизации и прогресса религиозной мысли, магия часто стала связываться с некоторыми сторонами религии. Однако, значительная часть магической практики сохранилась как орудие достижения тех же целей, для которых магия была предназначена первоначально, т. е. как область знания, существующая независимо от научных методов, и в силу этого не подчиняющаяся законам причинности и эмпирического опыта.

Магия, как предмет изучения, может быть разделена на четыре разновидности и каждая из них представлена в теории и в практике коммунистической партии. Эта магия так глубоко вошла в структуру коммунистической партии, что не только партийцы, но и целая школа внепартийных исследователей истории, приняли применение ее в практике коммунистической партии, как вполне законный процесс. Поскольку марксизм в основе своей является материалистической философией, то извращение этой философии означает и извращение материалистических методов ее применения. И в каждой из отдельных разновидностей магии такой извращенный материалистический метод применяется по своему.

1. СИМПАТИЧЕСКАЯ МАГИЯ. Эта разновидность магии основывается на предположении, что желаемые результаты могут быть достигнуты путем имитации их. Этот метод включает в себя применение магических заклинаний. Он использует тот факт, что предметы, находящиеся в контакте друг с другом, продолжают оказывать друг на друга влияние даже и в тех случаях, когда контакт нарушен.

В партии очень часто организируются публичные демонстрации, зачастую трагически бесполезные. Это делается в предположении, что таким путем могут быть вызваны аналогичные массовые движения. Опыт прошлого не имеет никакого влияния на эту практику. Разновидностью магических заклинаний являются резолюции. Я неоднократно наблюдал их составление, сопровождаемое глубоким и непоколебимым убеждением, что этот процесс приведет к нужному в данном случае действительному результату; однако неоднократно повторявшееся отсутствие ожидаемых от резолюций последствий свидетельствует о том, что они должны быть рассматриваемы как магические заклинания. То же самое относится к дискуссиям и к постановлениям, которые делаются тысячами, безотносительно к возможности их осуществления.

Такая практика является, однако, не результатом цинизма, а следствием веры в симпатическую магию. Листовки и брошюры также используются, как своего рода магические заклинания. Миллионы партийных листовок и брошюр были уничтожены. Миллионы лежат на партийных складах или в подвалах. Дело их распространения и вопрос, читают ли их, играют второстепенную роль, так как самый процесс их производства рассматривается как разновидность магического заклинания. Все это объясняется глубокой верой партийного руководства в силу его слов, в силу влияния этих слов на изменение хода истории, независимо от того, как эти слова передаются — устно или печатно.

Помимо приведенных, есть много других примеров. Существует, например, убеждение, что всякий, познакомившийся с доктриной партии, не может избавиться от ее влияния и эта доктрина продолжает свое воздействие даже после удаления человека от источника догмы, т. е. после ухода из партии.

2. ПРЕДСКАЗАНИЕ. Эта отрасль применения магии основана на получении скрытых или секретных сведений. В общеизвестной магии, т. е. некромантии, астрологии и гадании, для предсказываний пользуются внутренностями птиц, ясновидением и разными другими методами.

В партии и на языке партии эта отрасль магии известна как «существенно-необходимое орудие марксизма», которое должно способствовать открытию областей знания, без этого недоступных. Это — специфический способ предсказаний, который используем не только для того, чтобы открыть и обрисовать будущее (о чем свидетельствуют бесчисленные экономические и политические предсказания партийных вождей), но и как предлог со стороны партийного вождя для объявления себя экспертом по какому угодно вопросу, — что является источником их влияния и власти.

Я хочу подчеркнуть, что говорю здесь не о методах, похожих на магию, или аналогичных им, а о фактическом применении магии-колдовства, как способа воздействия, проистекающего не просто от невежества, а от вполне сознательного использования магических знаний, доступных магу-колдуну. Например, несколько лет назад на страницах журнала «Нью-мэссис» («Новые массы») обсуждались вопросы эстетики. Те из нас, кто принимал участие в этой дискуссии (зародившейся, кстати сказать, во Франции), принадлежали к числу писателей,

в течение ряда лет занимавшихся изучением эстетики и практическим применением ее в литературе. Тем не менее, мы оказались некомпетентными для решения этого вопроса. Решил вопрос Вильям Фостер (тогдашний глава коммунистической партии в Америке), который вошел в дискуссию и положил ей конец. Несмотря на то, что Фостер был вождем рабочего движения, а не писателем или артистом, правильность решения гарантировалась его способностью к прогнозам (то же самое было в России, где Сталин неизменно знал все по всем вопросам). Подтверждение этому заключается и в бессмысленном походе против психиатрии: бывший передовик «Дэйли Воркер» взял на себя задачу сокрушить всю систему психиатрии. Разрушить не путем изучения и доказательств, а путем «данной ему» способности к прогнозам. Та же самая практика предсказаний, применявшаяся в профсоюзной и политической работе, приводила партию к почти бесконечной серии провалов, — и, тем не менее, метод не был изменен.

3. ТАВАТУРГИЯ (ЧУДОТВОРСТВО). Это — совершение — с помощью алхимии, фокусов, колдовства и темных демонических сил — чудес нерелигиозного характера.

Соответствующая партийная практика облекается в звучные слова и называется «диалектическим материализмом» (то, что я привожу здесь, следует рассматривать не как критику диалектического материализма, но как описание тех специфических приемов, которые практикуются в партии и известны под этим именем). Ключом к такого рода чудесам было выражение «переход количества в качество». Это предполагало сферу чудодействия, проявлявшегося после того, как достаточно потрудились над неблагодарными и зачастую бессмысленными заданиями. Если такого рода работа производилась опять и опять, в течение многих лет, то в конечном итоге вы достигали момента, когда желаемое чудо совершалось.

4. ЗАКЛИНАНИЕ. Применение и произнесение магических формул. Употребление магических заклинательных слов. Магическое использование имен, принадлежащих богам или власть имущим. Использование колдовского ритуала. Это применение магии исторически возвращает нас к первобытным религиям и многие элементы их формального ритуала сохранились в религиозной практике до сих пор. Поэтому нет ничего удивительного, что именно эта область магии и ее применение особенно облюбованы коммунистической партией.

Применение магических формул и заклинательных слов происходит в партии ежедневно; фактически, несмотря на уменьшение интенсивности партийной борьбы (наблюдаемое со времени испанской войны 30-го года), влияние магии в лексиконе партии увеличивается. Такие выражения, как «Уолл-стрит» и «империализм» — еще соответствуют реальным понятиям, но такие выражения, как «большевик», «более высокий уровень», «буржуазный багаж», «партийная сознательность», «политическое мышление» и т. д. употребляются совершенно независимо от их подлинного значения.

Интересно, что в течение того периода свободных дискуссий, о котором я говорю в этой книге, один партиец, наделенный чувством

юмора и критическим взглядом на вещи, написал и опубликовал статью, состоящую исключительно из такого рода магических фраз. Выспренный язык этой тарабарщины звучал совершенно так же, как обыкновенное заявление партийного руководства. Коммунисты, владеющие и дорожащие их собственным языком, давно уже скорбят по поводу того громадного количества окаменелых штампов, которыми пользуются в партии для объяснения ее догмы. Такого рода язык не только чужд обычной практике английского языка, но часто режет слух. И несмотря на то, что все эти выражения легко можно было бы переделать, они процветают — отчасти благодаря лени руководства, но, главным образом, благодаря всепроникающему преклонению перед магией, лежащей в основе партийного ритуала. Страницы партийных изданий переполнены словами отжившими и почти уже не употребляемыми, как в разговорном, так и в литературном языке. Когда я спросил Джерома (одного из партийных вождей) — почему это так, он дал мне понять, что эти слова окружены ореолом традиции, и потому их значение далеко превосходит их смысл.

Употребление магических слов и имен, олицетворяющих собою власть, базируется на тех же самых принципах. Слово «марксизм» представляет собой ритуальное слово, долженствующее излучать магическую силу; такие имена, как «Ленин», «Сталин», «Дюкло» и так далее имеют силу заклинания. Формулы, как например, «От каждого — по способностям, каждому — по труду», никогда не подвергаются критике, ибо тогда выяснилась бы их бессодержательность. Вместо этого они принимают характер и силу религиозно-магических заклинаний. Выдержки из Маркса, Энгельса и Ленине отрешаются от их конкретного содержания и тоже превращаются в заклинания.

Полный анализ применения этой магии той именно группой, которая гордится своим воинствующим атеизмом, мог бы дать исключительно интересный материал для исследователя, но такого рода труд не входит в задачи этой книги.

17.

Писатель, чему бы он себя не посвятил, всегда бывает несколько своеобразным и, чаще всего, одиноким человеком. В ночные часы, когда он вынашивает и рождает свое произведение, он, быть может, более одинок, чем кто бы то ни было на свете. Он — пленник своих мыслей, своих мечтаний, своих видений, — и он должен бороться с ними. Он должен ими овладеть, придать им форму и ввести их в создаваемое им стройное целое. И как бы ни был плох писатель, чувство совести у него развито больше, чем у других; он посвящает себя высказыванию правды, как ее видит, насколько его возможности позволяют ему ее осязать. Я бы сказал, что если писатель не становится великим, то это, в значительной мере, следствие тех внутренних и внешних ограничений, которые мешают ему в поисках правды.

Для меня, по крайней мере, не было ни неожиданным, ни удивительным, что первые протестующие голоса, раздавшиеся в Венгрии против тирании коммунистической партии, были голосами писателей. В этом заключается смысл моего собственного существования и существования многих из собратьев по перу, которых я хорошо знал в течение многих лет; и в этом заключается также трагическая и неумолимая дилемма, стоящая перед писателями нашего времени.

Простой, но основной смысл положения заключается в том, что писатель, как художник, при тирании должен погибнуть. Я не знаю, является ли рост литературы, как искусства, необходимой силой для развития свободного общества. Но я знаю, что рост литературы является результатом свободного общества, и когда свобода убита — литература сходит на-нет и умирает. При тирании доктор может продолжать медицинскую практику, плотник может строить дома так же хорошо и так же надежно, как раньше, и даже рабочий может играть свою обычную роль в производстве; но от писателя тирания требует прямо противоположного его искусству — требует послушания.

В предыдущем изложении я стремился показать, что характер вождей коммунистической партии был создан судьбой не случайно. Этот характер логически вытекает из самой истории и организационной структуры коммунистической партии. Не является случайным и тот факт, что писателей привлекает к себе коммунистическая партия; не случайно и то, что они так часто покидают ее с чувством отчаяния, возмущения и разочарования. Сострадание к другим является той характерной чертой, которая отличает натуру писателя и его деятельность не потому, что писатели — особый сорт людей, более склонных к состраданию чем другие, но потому, что писатели изо дня в день, из года в год

имеют дело с надеждами и мечтаниями людей — и, поскольку они имеют отношение к социальному строительству будущего, они в большей или меньшей степени вызывают чувство симпатии и заинтересованности. Бывают писатели, так сказать, «жестокие», «объективные», «индифферентные» и т. д. — но я не знаю писателей, которые были бы в состоянии совершенно освободиться от любви и сострадания к бедным, несчастным созданиям, которых они изображают. На это неспособны даже наихудшие из них.

Ввиду всего этого, неудивительно, что многие обращаются к коммунистической партии. Они видят в этом как-бы новое оправдание смысла своего существования, как писателей. Близкое соприкосновение с человеческими страданиями толкают писателей на путь искания социальной справедливости, — и им кажется, что в коммунистической партии кроется практическая возможность избавиться в будущем от эксплуатации и угнетения человека человеком. Факт, что при этом они становятся жертвами обезличивающей партийной дисциплины, постигается ими не скоро и не просто. Однако, в конце концов, они становятся перед необходимостью или покинуть партию, или отказаться от надежд на творческий рост.

Я говорил о некоторых из тех обстоятельств, которые привели меня к положению, при котором я не мог больше оставаться в коммунистической партии, но до сих пор я ничего не сказал о тех сопутствующих процессах, которые неизбежно должны были привести к тому же самому решению, — не сказал о своем писательском опыте.

Я на собственном опыте узнал обе стороны медали, потому что в вопросе моей свободы, как писателя, и в осуществлении моего желания писать то, о чем я хочу и как я хочу, жизнь поставила меня перед необходимостью столкнуться с запретами, исходящими от двух враждующих станов. Их влияние на меня и те способы воздействия, которые при этом применялись, были далеко не одинаковы, так как, какое бы влияние не оказывал на писателя капитализм, он не оказывает на него того утонченно-умерщвляющего воздействия, которое является составной частью коммунистической практики. В условиях капитализма не существует и присущих коммунизму верховных жрецов, в особе которых сосредотачивается власть единоличного решения. История литературы капиталистического мира изобилует писателями, творения которых были неприемлемы и неприятны для государственной власти. В протесте против существующего порядка вещей эти писатели приобрели дар изумительного красноречия. Диккенс, Драйзер и Золя немедленно приходят на память, а они являются лишь представителями целого ряда подобных им творцов-художников.

Иными словами, капитализм может наложить на писателя клеймо отверженного, но у писателя остается право ответить на это таким же образом и упорной борьбой с произволом. Демократический капитализм не может наложить своей руки на творческий процесс и вырвать его из души писателя, предлагая взамен единственную другую возможность — смерть.

Я останавливаюсь на этом так подробно, потому что в дальнейшем пробую произвести некоторую сравнительную оценку, что вовсе не следует понимать, как сравнение. В демократическом капиталистическом

обществе большой писатель или художник имеет охраняющий его щит традиций. Даже если его не понимают, его искусство награждает его, по крайней мере, той или иной степенью почитания. При коммунистической же системе, как только писатель окажется в конфликте с доктриной, утверждающей догму верховных жрецов, его искусство предается презрению; и как бы много не говорилось в опровержение этого факта, самый факт остается неизменным.

Я хочу это подчеркнуть на основании моего собственного опыта в Соединенных Штатах. В течение тринадцати лет моей принадлежности к партии ни один из вождей американской компартии никогда не обсуждал моих произведений — до тех пор, пока я не предстал перед судом по обвинению в нарушении партийной линии. Когда я получил сталинскую премию мира, Бетти Ганнет, бывшая тогда членом секретариата, закричала в гневе: «Теперь с ним будет еще труднее справиться, чем раньше!» Но американские вожди компартии никогда не обращались ко мне, за исключением тех случаев, когда собирались меня наказать или хотели дать какое-нибудь поручение.

Когда Альберт Мальц в 1946 году послал в журнал «Нью Мэссис» статью, содержащую довольно мягкую критику ограниченного и одностороннего отношения коммунистов к литературе, к нему стали относиться как к человеку, совершившему большое преступление. Я и себя самого включаю в число тех, кто в его критике перешли все границы, без всякой оглядки на цели, которые эта критика преследовала. Я никогда не мог себе простить этого, хотя сам Мальц это легко простил и забыл. Собирались заседания, на которых Майк Гольд обвинял Мальца с такой страстью и в таких выражениях, которые цивилизованный человек счел бы допустимым лишь по отношению к патологическому преступнику.

То, что Альберт Мальц был талантливым писателем непоколебимой честности, не имело ровно никакого значения. Меня в партийной печати неоднократно обвиняли как «красного» и как «орудие Москвы». Но тут было другое дело: ведь Мальца обвиняли его собственные товарищи, обвиняли как человека, якобы стремившегося нанести смертельный удар самым святым человеческим мечтам и стремлениям. Его ошибка была не просто ошибкой — это был смертный грех, а потому он должен был подвергнуться полному уничтожению. В то время он не имел ни положения, ни почета, и партийное руководство наблюдало происходившее с удовольствием и с одобрением. Ведь таким образом защищалась и поддерживалась партийная линия, — а если при этом были разбиты или изуродованы человеческие души, это не имело никакого значения.

Да, партия ценит своих писателей, но при этом партия относится с презрением к людям, а писатели прежде всего — люди.

Мне приходит на память также случай с Эрлом Конрадом, много и хорошо писавшим о человеческом достоинстве негров. Я не знаю, был ли Эрл Конрад когда-нибудь коммунистом (по имеющимся у меня сведениям он таковым не был), но благодаря своим трудам о неграх он стал известным в прогрессивных кругах, в которых партия имела влияние. И вот, когда появился его роман «На дне», партия решила, что критика этого произведения является ее обязанностью. Для руководи-

телей партии показалось недостаточным отметить уклонения от партийной линии в вопросе о неграх. Вожди захотели пойти дальше, попытаться унижить и уничтожить душу и разум Конрада — так же, как они постарались сделать с Альбертом Мальцем. Это было труднее в отношении человека, не принадлежавшего к партии, но влияние партии среди прогрессивных кругов было так велико, что тысячи людей ей удалось убедить в моральном разложении Конрада.

Кто припоминает этот постыдный случай, тот припомнит, что мистер Стон защищал книгу Конрада на страницах своего журнала «Компас». Стон заявил, что, прочитав книгу, он убедился в ее совершенной справедливости. Кто же, зная Конрада, мог подумать иначе? С моей точки зрения, книга посвящена искренней и прямодушной защите социальной справедливости и равенства. Но когда я поднял голос в защиту Конрада, мне стало грозить исключение из партии. Мое положение в партии немедленно изменились и несколько моих слов в защиту Конрада вызвали поток обвинений в том, что я сам, быть может, являюсь контрреволюционером — кличка, которую мне дают и теперь.

Необходимо отметить, что тогда, в отчаянии, я дал книгу Конрада Джерому, общепризнанному в партии комиссару культуры, прося его составить о ней собственное мнение. Но для Джерома страх был сильнее чувства объективности и в течение нескольких недель, пока вопрос не был исчерпан, он сожалел о невозможности найти время для прочтения книги. . . Быть может, то были укоры совести, что несколько лет спустя заставило его сказать мне, как, благодаря его усилиям, было приостановлено, а потом и отменено предложение об исключении меня из партии — в связи с моим рассказом «Падший Ангел». Но я вернулся к этому в дальнейшем.

Таково было отношение коммунистической партии к писателям и артистам. Это отношение было мелочным и презрительным. Однако, было бы несправедливо не указать здесь, что вне коммунистического мира я также встречался с ограничениями моего стремления писать так, как мне хочется и как подсказывает моя совесть.

Как член правления комитета по устройству антифашистских беженцев, я был одним из тех, кто должен был предстать перед комитетом Конгресса, расследующим антиамериканские выступления. Это было очень давно, когда комитет находился еще под председательством конгрессменов Вуда и Ранкина. Очень длительный процесс (с последующей апелляцией) закончился, в конце концов, приговором к тюремному заключению за неуважение к Конгрессу. С самого начала процесса я, вместе с другими членами правления, отказался представить на суд книги со списками лиц, жертвовавших на работу антифашистского комитета, а также списки тех лиц, которым этот комитет помогал. Я считал это делом совести, так как полагал, что когда вам оказывают доверие, в какой бы то ни было форме — вы не должны его обмануть, раскрывая имена доверившихся вам.

Во времени моего тюремного заключения, мое имя неоднократно связывали с коммунистической партией, — хотя я никогда официально не заявлял о принадлежности к партии, так же, как и не отрицал этого факта. За год до того, как я начал отбывать свое тюремное наказание (я был заключен в тюрьму в 1950 году), т. е. летом 1949 года, произошли те невероятные беспорядки и волнения, центром которых был Поль Робсон и его концерты в окрестностях Пикскила. Эти события и беспорядки подробно описаны мною в книге «Пикскил, США», которая опять обратила на меня общественное внимание, как на воинствующего коммуниста. После этого в следовавших одно за другим событиях, было ли то борьба за спасение жизни осужденного на юге негра или участие в избирательной кампании по выборам в Конгресс на стороне американской рабочей партии — я, как писатель, в большей или меньшей степени всегда оказывался для американской общественности в положении представителя коммунистической партии.

В течение этого же времени я был поставлен лицом к лицу с фактом падения моего престижа, как писателя, имевшего обычно полный и нормальный доступ к американской публике. Постепенно, понемногу мое общение с читателем сокращалось. Критики начали усматривать в моих писаниях коммунистическую пропаганду, книжные магазины отказывались брать мои книги; и люди, заботящиеся об «общественных интересах», предприняли меры к изъятию моих книг. Мое произведение «Гражданин Том Пэн», как это ни смешно, было запрещено для пользования в школах города Нью Йорка на том основании, что в нем есть «красноватые места». Выйдя в 1950 году из тюрьмы, я начал писать книгу «Спартак», которую считаю важнейшим и наиболее круп-

ным трудом всей моей литературной жизни. Когда через полтора года я ее закончил, от моего бывшего престижа, как писателя, не осталось ничего. Мой вклад в американскую литературу был аннулирован. Семь наиболее известных издателей отказались печатать мою книгу. В отчаянии я напечатал ее сам и, кстати сказать, она оказалась очень популярной и распродавалась в большом количестве.

Сказанное выше является очень важным, так как нападать на коммунистическую партию и на ее отношение к писателям и их произведениям, и в то же время делать вид, что некоммунистическая Америка относится к литературе всецело так, как может и должна относиться демократическая нация, — было бы нечестно и вводило бы в заблуждение. Другие факты являются более важными. То обстоятельство, что демократическое общество имеет свои недостатки, не представляет, на мой взгляд, ничего удивительного. Мы живем в мире несовершенном, страдающем от множества недостатков, и это обстоятельство никогда не было неведомым для людей достойных, обращавших на него внимание в течение веков. Они стремились сделать этот мир лучшим.

Моя деятельность, как писателя, в Соединенных Штатах, была нарушена. Я вынужден был издавать мои книги с большими издержками, а порой и с большими убытками. Мое прежнее относительное благосостояние и мои успехи были низведены до степени борьбы за существование в литературном мире, и мои произведения становились все меньше и меньше известными. Однако, несмотря на связанные с этим потери и лишения, нужно отметить следующее:

1. я продолжал писать;
2. я продолжал жить;
3. я продолжал сражаться за мое неотъемлемое право писать, как я хочу.

Я привожу факты именно в таком порядке, потому что в то время это был для меня чудовищный и незаслуженный опыт жизни. Я находился в оппозиции к своему правительству и не стеснялся в выражениях; я не просил пощады и сам не щадил никого. И, тем не менее, я писал, я жил, я сражался за свои права.

Мои коллеги в Советском Союзе были в гораздо меньшей оппозиции к правительству, чем я. Они ему не противились. Они не бросали ему вызова. В крайнем случае, они осмеливались лишь не соглашаться с ним в пределах своей профессиональной деятельности. Однако:

1. они не продолжали писать, они должны были умолкнуть;
2. они не продолжали жить, они были жестоко замучены и убиты.
- 3, они не продолжали сражаться за свое право писать, как им хочется; эта привилегия была им неизвестна; советская власть карала их смертью за стремление осуществить свое призвание так, как им подсказывала совесть.

Если бы не было секретного хрущевского доклада, и если бы он не послужил источником аналогичной информации, поступившей из коммунистического мира в связи с докладом и как следствие доклада, — то, может быть, предложенная мною формулировка могла бы иметь место, но убедительность моего утверждения подверглась бы большому сомнению. Дело в том, что мои выводы и заключения, хотя и основаны

на жизненном опыте и логике, но не соответствуют взглядам среднего нормального человека. И хотя мир, в котором мы живем, как известно, не отличается недостатками жестокостей и бесполезных, бессмысленных убийств, — тем не менее, с точки зрения нормальной логики и нормального мировоззрения, тот факт, что правительство страны, считающейся социалистической, может быть виновно в бессмысленном убийстве своих писателей — представляет собой нелепый парадокс, трудно доступный пониманию и граничащий с безумием.

Многим нелегко понять и то обстоятельство, что в настоящее время во всем мире коммунизм встречает сопротивление со стороны писателей, большинство которых было коммунистами. В дальнейшем изложении я постараюсь выяснить силы и влияния, действующие на писателя и делающие его стремление к свободе не только профессиональной, но и жизненной потребностью. Необходимо, однако, обратить внимание и на то, как в Советском Союзе и в восточно-европейских странах протекает процесс противоположного характера, и какие он дает результаты.

Мы в западном мире более широко и более близко знакомы с русской литературой докоммунистического периода, чем это угодно советским властям. Не только большие русские писатели, как Толстой, Достоевский и Гоголь, оказали весьма сильное влияние на литературный стиль нашего времени. Почти невозможно представить себе драматурга наших дней, на которого не влиял бы Чехов. И невозможно представить себе современного писателя коротких рассказов, не изучавшего этого жанра литературы по несравненным образцам русской литературы. Но если таково отношение к докоммунистической русской литературе на Западе, то насколько более важным и ценным является литературное прошлое России для советских и восточноевропейских писателей.

Много причин вызвало блестящее развитие русской литературы. В этой книге я могу назвать только немногие из них и только вскользь. Россия вышла на мировую сцену сравнительно поздно и это являлось причиной того, что Запад и западная литература произвели внезапное и очень сильное впечатление на образованное русское меньшинство. В результате в России в XIX веке возникло нечто вроде Ренессанса. Помимо внешнего сходства, внезапный расцвет русской литературы имеет поразительное сходство с самой сущностью могучего культурного движения, имевшего место в эпоху Ренессанса. Гуманистические традиции, существовавшие среди правящего класса в России, послужили побудителем к радикальным реформам и неустанной политической борьбе против самодержавия царей. В то же время наличие резких контрастов между богатством и нищетой привело к тому, что в среде гуманных и философски мыслящих писателей выработался дух такого сострадания к человеку вообще и такого внимания к человеческому достоинству, который никем и никогда не был превзойден во всем мире. То обстоятельство, что писатели не имели права критически относиться к общественному строю, не мешало им, однако, во всеуслышание критиковать его. И этого одного было достаточно, чтобы спасти их от душевного сантиментализма западных современников. Это же привело русских писателей к достижению максимального совершенства в применении методов реализма.

Как это бывает со всеми великими писателями, произведения их носят характер бичующей проповеди, хотя роли проповедников они на себя и не принимали. Они выставляли на показ, бичевали и преследовали лицемерие, подхалимство, невежество, подлость. И все это они писали и говорили языком, который по словам Ломоносова включает в себя: «великолепие испанского, живость французского, солидность немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство, красочность и краткость греческого и латинского языка».

Нет ничего удивительного, что русские писатели смогли достигнуть больших результатов. Но это привело к тому, что они наградили своих коммунистических потомков трудно разрешимой задачей. Бесплезно заниматься праздными рассуждениями о том, какую могла бы быть литература в неизвестных нам мирах. В человеческой же истории лучшие произведения литературы всегда отличались критическим отношением к несовершенствам жизни, нетерпимостью в отношении недостатков и устремленностью к исканию новых путей. Иногда, когда мы забываем об эпохе, к которой относится литература, от нашего внимания ускользает ее критический характер. Но дух искания, которым она проникнута, целеустремленность, которая ее отличает, наделяют ее тем качеством, которое мы называем величием.

В этом заключается вся сущность и все значение литературы. Если от нее отнять тот революционный, критический дух, который настойчиво, неустанно и неизменно подталкивает, раздражает и побуждает, то мы вместе с этим духом уничтожим и самую литературу. Одно без другого невозможно. В мире нет и не может быть литературы, которая была бы пассивна по своему характеру и заслуживала имя литературы. Этот факт настолько очевиден, что не стоит о нем говорить.

Другими словами, существование литературы всегда опасно для тирании. И, тем не менее, в силу ряда социальных и исторических причин, мало кто из тиранов умерщвлял писателей. Одна из причин заключается в том, что тиранам не нужно отстаивать и защищать своей правоты. Другая в том, что тирании редко достигают вполне законченной формы. Зависимость тиранов от общественного мнения является также одной из причин. И, наконец, далеко немаловажным является то обстоятельство, что все время увеличивающаяся сила культурных традиций заставляют людей более чем косо смотреть на преследование писателей, не говоря уже об их истреблении.

Советский Союз показал миру пример нового положения, происходящего в результате сосредоточения и укрепления власти в руках коммунистической партии. Коммунистическая партия создала целый индустриальный комплекс, который управляется не правительством страны, а самой партией и при этом с такой абсолютной тиранической властью, какая до сих пор не была еще известна в истории человечества. В Советском Союзе нет правительства в той форме, в какой оно обычно известно, и все исторически сложившиеся механизмы управления, которые существуют в других странах, как например выборы, парламенты, суды, полиция и т. д., все это в СССР существует лишь как механизмы, используемые партией в целях управления страной, — причем в существовании самой малейшей части любого механизма нет даже намека на независимость от партии, и ее существование всецело за-

висит от поддержки и согласия партии. Образование фракций, оппозиционных партий и вообще сфер сопротивления диктатуре партии представляется почти совершенно невозможным, пока коммунистическая партия может поддерживать свое монолитное единство.

Результаты такого положения находят яркое отражение в новой советской литературе. В 20-х годах литература отражает настроения эпохи гражданской войны, когда революционный дух воодушевлял партию, а партия была еще недостаточно многочисленна и недостаточно сплочена, чтобы требовать абсолютного подчинения. Возрожденные жизненности литературы во время гитлеровского нападения на Советский Союз объясняется тем, что перед лицом общей опасности — в виде беспощадного нацистского чудовища — народ и бюрократическая тирания слились тогда воедино. Тем не менее, этот период по размаху и силе нельзя сравнить с периодом двадцатых годов, — потому что во время Второй Отечественной войны русская литература лишь частично отражала традиции своего великого прошлого и лишь постольку, поскольку вопрос шел о победе над внешним врагом и защите советской родины.

Ко времени Второй Мировой войны все основные привилегии писателя, которые дают ему возможность оперировать с реальными фактами, были уничтожены. Эти привилегии, а с точки зрения писателей — существенно необходимые условия творчества, заключались в возможности критики и оппозиции. Оба эти условия были устранены и вместо них подставлена идеология партии, до абсурдности извращавшая идеалы, мечты и надежды, составлявшие первоначальную идеологию. Такое извращение первоначальной идеологии проводилось по особому методу, с помощью которого подлинные нравственные правила, устанавливавшие понятия справедливости и права на нее, заменялись изречениями и повелениями, исходящими от убогих и недалеких комиссаров.

Позвольте мне иллюстрировать это положение примерами.

Вместо того, чтобы сделать попытку изменить то унижительное положение, в котором находилась русская женщина, был проведен ряд лицемерных мероприятий, касающихся полового вопроса; мероприятий, по своему лицемерию напоминающих двуличность, характерную для эпохи королевы Виктории. При этом за реальные факты, принималось то, что отнюдь ими не было.

Вместо того, чтобы вникнуть в психику молодежи и понять вопросы, касающиеся ее развития, партия приняла за норму и реальный факт тот облик молодежи, который соответствовал эпохе 1900-х годов, и который в Америке находит свое отражение в серии рассказов, известных под названием «Ровер Бойс». Этот облик не только далек от реальности, но и значительно с нею расходится; однако, для писателя он является обязательным и под страхом серьезного наказания с ним приходится считаться, как с реальностью.

Вместо того, чтобы вникнуть и попробовать чистосердечно понять Америку и американцев, их привычка к жевательной резинке приравнивается к нацизму.

Вместо того, чтобы считаться с реальным немецким рабочим, представление о нем заимствуется из писаний Ленина и оно утверждается

как реальный факт, якобы соответствующий самой человеческой сущности немецкого рабочего. И так далее, до бесконечности.

Важнее всего, однако — установление той центральной и главной «как-бы реальности», которая находится в самом центре советской жизни и которая олицетворяет собой коммунистическую партию и ее комиссаров. Как большой жирный паук, она опутывает своей паутиной все проявления советской жизни. Теплившаяся вначале надежда, что со временем партия, под влиянием сокрушительных ударов талантливых писателей, может стать более человеческой, была раз и навсегда уничтожена, когда Троцкий и люди его окружавшие понесли поражение, были изгнаны и умерщвлены. Таким образом, писатели не только были кастрированы, как художники, но, по самой сущности своей профессии, превращены во врагов власти — в силу того искомого противоречия, которое существует между писателями и тиранами.

И в этом отношении партия была права. Я говорю это на основании опыта, наблюдений и выводов всей моей жизни. Для партии в том виде, в каком она существует теперь, всякий писатель, каким бы преданным ей он не казался, — потенциально является ее врагом и губителем, т. к. он движим теми колоссальными силами, сопротивление которым возможно только путем уничтожения своего дарования и таланта.

Когда это обстоятельство становится очевидным и понятным, тогда многое из того, что было непонятно в прошлом, становится ясным. Коммунистическая партия Советского Союза уничтожила русскую литературу не потому, что хозяева в Кремле не интересовались и не ценили достижений литературы, но потому, что самозащита партии и партийной власти делала уничтожение этой литературы необходимостью.

Все сказанное может быть легко проверено каждым, кто найдет достаточно времени и терпения, чтобы прочитать, скажем, сто русских рассказов, написанных с 1919 года. Читатель будет очарован свежестью, жизненностью и содержательностью рассказов, написанных в двадцатых и в начале тридцатых годов. И он будет поражен внезапным падением, бездарностью и бессодержательностью рассказов, написанных в период, предшествовавший Второй Мировой войне. Затем — он опять будет приятно удивлен и тронут некоторыми рассказами военного периода, в которых проявились талант и сила. К такого рода рассказам относятся произведения Василия Гроссмана — «Жизнь» и Леонова — «Колесница гнева». А дальше читатель будет вынужден с отвращением отвернуться от нудной и неинтересной белиберды и макулатуры, что представляет собой советская литература послевоенного периода.

Я встретился с этим фактом восемь лет назад, когда писал статью в защиту позиции коммунистов в искусстве, и был не в состоянии его объяснить. Но в то время мы не имели возможности оценить результаты, которые дал послевоенный период в литературе. Как исходный пункт моей статьи, я избрал прекрасную повесть тридцатых годов Валентина Катаева под названием «Белеет парус одинокий». Я избрал ее, как исходный пункт в описании достижений советской литературы. Правда, повесть Катаева, хотя и превосходная во всех отношениях, была произведением сравнительно маловажным, — но вме-

сте с героическими рассказами Шолохова о донских казаках давала нужный отправной пункт. Когда же я захотел описать дальнейшее развитие советской литературы, то увидел, что вслед за этими произведениями не последовало больше ничего. Я писал в Советский Союз, но мне с раздражением ответили, что Катаев больше не пишет, что он «почил на лаврах», что он «ленив», и что он не хочет себя утруждать писанием. Относительно Шолохова ответ был очень туманен и неясен. Три или четыре других писателя, о которых я справлялся, тоже оказались ленивыми. Мои русские корреспонденты объяснили мне, что авторские гонорары в советском раю так велики, что писатели становятся ленивыми и нетрудоспособными, — и это создает трудно разрешимую проблему.

Война создала большие осложнения. Когда Симонов писал о Сталинграде, то в его изложении история обороны Сталинграда приняла характер примитивного детективного рассказа, — оставив в стороне всю значительность этого события как военно-стратегического факта и его исключительную политическую важность для партии. Полевой в «Повести о настоящем человеке» даже не намекнул на то, какова была внутренняя сущность этого «настоящего человека». Когда однажды у меня дома мы спрашивали автора лично, как у него хватило духа написать такую невероятную и такую неестественную ночную сцену в доме сестры милосердия, где вопросы любви и полового чувства были низведены до самого примитивного уровня, — он только пожал плечами, улыбнулся несколько смущенно и объяснил: так нашей публике нравится. Но рассказы Соболева, написанные под влиянием личного военного опыта, содержат в себе целый ряд художественных образов, и мелкие рассказы Гроссмана стоят на уровне лучших произведений нашей военной литературы. Однако, и они менее талантливы, чем лучшие литературные произведения первой мировой войны.

Указанные недостатки литературы последнего периода, ее поверхностность и бесталанность отражают характерные черты, присущие всей советской литературе последнего десятилетия. В американской литературе только с большим трудом можно найти книгу, так скверно написанную, как популярный в России рассказ Собко «Гарантия мира». Быть может, читателю в связи с этим придут на память аморальные и безнравственные рассказы Майка Шпила; нужно согласиться, что ничего подобного в Советском Союзе не писалось и книги такого сорта, как писал Шпила, являются тем злом, которое свободное общество должно терпеть. Зато в Америке никогда не было недостатка в критическом отношении к такого рода произведениям, тогда как в Советском Союзе никто не осмеливается правдиво и честно отозваться о произведениях, подобных рассказам Собко. Его «Гарантия мира» написана в духе прописной морали. Все действующие лица, выведенные в этой книге, ведут себя как образцы нравственности, — но книга насквозь проникнута надуманностью и ее извращенность гораздо глубже, чем поцелуй, не освященный браком. Темою служит оккупированная Германия и сущность книги заключается в извращении реальных фактов по тому же шаблону, как это делалось в отношении описания событий в дореволюционной Венгрии.

С того времени, как этот перл литературы появился на свет, я оз-

накопился с большинством того, что переводится с русского языка на английский. Не подлежит никакому сомнению, что переводится лучшее, что имеется в советской литературе. Я убедился, что все это составляет однородный материал такого характера, который направлен к утверждению, путем извращения реальных фактов, образцов морального педантизма прошлого столетия. Из этого общего правила есть только три исключения, и два из них составляют переводы, сделанные за границей, против желания советской власти.

Для того, чтобы составить себе ясное представление о современной советской литературе, нужно прочесть много книг, и я должен сказать, что никогда в истории литературы не было более скучного и более неинтересного собрания литературных произведений, чем в современной советской литературе. Советские произведения не отражают никаких внутренних проблем и заключающийся в них элемент борьбы относится лишь к «выполнению норм». Выводимые в них герои и мерзавцы наделяются одними и теми же качествами, независимо от писателя или условий развития действия; их характеристики героев напоминают выработавшиеся в Америке хорошо известные типы — как Ник Картер или Горацио Алджер. Единственная разница в том, что вместо богатства и денег, к которым стремятся Картер и Алджер, советские герои борются за «партийные достижения».

Нельзя сказать, чтобы эти книги сами по себе были предосудительны, как книги, вредные для детей младшего возраста; все они построены на прославлении нравственных принципов прошлого столетия, принятых за основу, как ни странно кровавым убийцей и параноиком Иосифом Сталиным. Эти произведения изобилуют книжной моралью и несложными рецептами спасения души. Читатель приблизительно моих лет должен помнить рассказы, известные под названием «Ровер Бойс». В них рассказывается, как самые отчаянные мерзавцы, в конце концов, отказываются от своего скверного прошлого и начинают новую жизнь под влиянием высоко-добродетельных «ровер-бойс». В советских произведениях эти последние заменяются добродетельными коммиссарами.

Неудивительно, что советские писатели не так давно пришли к заключению, что вдохновение, ограниченное рамками дозволенного, — потому что совершенство советского общества якобы устранило возможность внутренних конфликтов и противоречий, — не дает возможности появиться талантливым произведениям. Советские писатели могли бы припомнить при этом, как Гитлер устранил внутренние конфликты в Германии; но если бы у них такие воспоминания даже возникали, где в Советском Союзе они могли бы написать о них?

Как об исключении из правила можно упомянуть об «Оттепели» Ильи Эренбурга, — книге, написанной очень скверно, но тем не менее представляющей собой попытку отобразить реальные факты, попытку, сделанную писателем, давно от этого отучившимся. Другими исключениями из общего правила являются «Не хлебом единым» — книга, которая в Советском Союзе все время подвергается официальным нападкам, и сборник очаровательных рассказов научного характера, написанных писателем-ученым Ефремовым, — единственная из упомянутых трех книг, получившая привилегию официального перевода с

русского. Что касается первых двух книг, то они явились результатом влияния на положение вещей в Советском Союзе XX съезда КПСС. Это — короткие вспышки света, приветствуемые голодной русской публикой, независимо от их качества.

Однако, партийные заправила уже объявили во всеуслышание, что такого рода экскурсия в область реализма в будущем дозволяться не будет, — а советские писатели имеют малоприятные воспоминания о том, что постигало их товарищей по искусству, когда они бросали вызов партийным божкам. Всех русских писателей и критиков, которых мне приходилось встречать, я спрашивал о Ефремове, и большинство из них или никогда не слышало о нем, или давало понять, что он слишком маленькая величина для того, чтобы на него обращать внимание. И в том и в другом случае он должен быть очень счастлив; или, быть может, Политбюро не в состоянии разобраться хорошенько в той картине будущего, которую рисует его научная фантазия.

Другие восточно-европейские народы не дали нам никаких произведений, которые были бы переведены на иностранные языки, что само по себе является удивительным фактом, принимая во внимание целое десятилетие существования «социалистической культуры». Быть может, я упустил одну или две книги, и я охотно прошу извинить меня за это. Но дипломаты восточно-европейских стран, интересующиеся литературой, говорят мне о том, что в их странах мало достойного опубликования даже на их родном языке, а тем паче — заслуживающего перевода. События в Венгрии и Польше делают это обстоятельство вполне понятным.

Таким образом, мы имеем представление о том, что приводит к умерщвлению писателей. В своей собственной профессии писатель находит математически точные доказательства провала идеалов и надежд — и сознание этого провала делает писателя опасным. И, быть может, писатели, сделавшись опасными для коммунистической партии, окажутся опасными настолько, чтобы во имя своей славной профессии помочь разрушению структуры партии. Будучи сам писателем я, естественно, придаю особенно важное значение взаимоотношениям писателей с коммунистической партией.

Не так давно, когда я закончил первую часть этой книги, Советский Союз нарушил, наконец, тот заговор молчания, которым я был окружен в течение многих месяцев — с тех пор, как я перестал быть коммунистом. Каковы бы ни были преследуемые советской властью цели, она решила, что я не должен больше оставаться «человеком, которого не было». Она добавила имя Говарда Фаста к длинному списку тех, кого называет изменниками. В тех обвинительных тирадах, которые стали известны под именем советского общественного мнения, меня винят в том, что я заимствую от антикоммунистических пропагандных центров «клеветнические приемы» и «подтасованные аргументы». Согласно этим обвинениям, я виноват также в том, что повторяю «фальсификации и измышления реакционных агентов сионизма».

В советском лексиконе кличек и ругательств «реакционным сионистом» считается тот, кто приветствует существование Израиля, как еврейского государства и как убежища для преследуемых евреев. Поскольку Советский Союз глубоко замешан в ожесточенную борьбу за

среднеазиатскую нефть, к росту и усилению Израиля он относится, как к угрозе собственным целям. Таким образом, вопрос здесь не ограничивается проблемой переселения евреев из других стран: отношение советской власти к репатриации китайцев совершенно иное, — хотя эти два случая и не являются полностью схожими. Отношение советской власти к еврейскому вопросу представляет собой смесь невежества, предубеждения и антисемитизма. До сих пор не дано объяснения, почему в Советском Союзе уничтожена еврейская культура; еще менее понятны сведения об умерщвлении еврейских писателей и критиков. Несмотря на то, что и канадская, и британская коммунистические партии посылали в Советский Союз специальные комиссии с целью получить объяснение указанного обстоятельства, ответа не последовало и до сих пор. Когда я сам поднял на страницах «Дэйли Воркер» вопрос об отказе в выездных визах для советских евреев, я характеризовал это как массовое тюремное заключение и пленение целого народа.

Поскольку Израиль существует, как независимое государство, этот вопрос ставит проблемы, которые до сих пор не рассматривались и не обсуждались коммунистическим движением. Однако факт такого пленения налицо, как и аналогичные исторические прецеденты.

Когда представители советской власти сыпят на мою голову проклятия, должныствующие низвергнуть меня в самое пекло сатанинского ада, их очевидный антисемитизм прикрывается лишь очень тонким и прозрачным покровом. Нападки на писателя вряд-ли способствуют его объективности в оценке врагов и противников. И если в советском лексиконе слово «сионист» означает «еврей», то не нужно забывать, что евреи бывают хорошие и плохие, а это вводит некий вариант в более примитивный расизм Гитлера. В настоящее время плохими евреями считаются те, так сказать, «еврейские евреи», которые осознают себя евреями и придают значение своему еврейскому происхождению. Вопрос еврейского происхождения можно игнорировать в тех случаях, когда вы занимаете правильное положение по отношению к партийной линии. В чудовищности «сионистского заговора», послужившего оправданием уничтожения еврейских писателей, нет ничего нового. Постыдным «Протоколам сионских мудрецов» значительно больше лет, чем власти Хрущева, и можно с уверенностью сказать, что они служили еще более неразборчивым хозяевам.

В течение двадцати лет мне приходилось слышать то, что коммунисты называют клеветой на советскую систему, но я отказывался этому верить, — и если вера велика, то, уверяю, что сила неверия тоже громадна. Меня не нужно было понукать к заявлению, которое на основании глубокого убеждения я делал и повторял не раз и не два, а тысячи раз:

«Вы нагло лжете, когда говорите что-либо худое о Советском Союзе. Это — клевета, которую бросают по адресу республики рабочих те, кто ее ненавидят и кто хотел бы видеть ее уничтожение».

И если теперь, признав, что клевета была правдой, я стал беззащитным, то это не дает советской власти и партии права показывать на меня пальцем и обвинять меня в измене. Я не мог им изменить, потому что в отношении их у меня нет и не было обязанностей. Я изме-

нил не им, я изменил тем мечтам о свободе и справедливости, которые живут в сердцах людей спокон веков. Я изменил им вследствие невежества, почти столь же позорного, как и скрывавшиеся за ним факты. Игнацио Силоне в своей переписке с редактором советской «Литературной Газеты» болезненно-остро заявил, что если бы в Италии правительство убило поэта, то возмущение и гнев народа грянули бы, как гром с небес. Я не могу ручаться за правоту этого утверждения, так как никогда не был в Италии, но я знаю, что в стране, где поэты и писатели могут быть преданы мукам, избиваемы до потери сознания и затем постыдно и втайне убиты — в такой стране свобода может быть лишь чужестранным пришельцем.

Я спросил об одном русском поэте. Как известно, все хорошие писатели в большей или меньшей мере являются и поэтами. Из этого факта можно сделать вывод, что поэт — это особого рода писатель, и в тех случаях, когда поэту может быть присвоено звание великого, его песни затрагивают самую сущность человеческого бытия и человеческой судьбы, и трактуют ее так глубоко, как это только возможно для человеческих усилий. Поэт, о котором я говорю, был Исаак Фефер. Случайно некоторые из нас, здесь в Америке, знали его лично. В начале войны он приезжал сюда, как вестник дружбы, и завоевал наши сердца. Высокий красивый человек в форме полковника Красной Армии, он являлся как-бы символом того, что Советский Союз поклялся вырвать с корнем антисемитизм в Советском Союзе (Фефер был еврей); любимый и известный в Советском Союзе поэт, офицер и человек, каждое слово которого дышало любовью к родине.

Потом до нас дошли слухи, еще задолго до XX съезда КПСС, что он умер и умер странно. Мы ничего не знали. Спрашивал я, спрашивали другие: «Где Исаак Фефер и как он умер?»

Этот вопрос задавался сотни раз и всегда оставался без ответа. Мы, задававшие вопрос, выглядели дураками, потому что не могли понять всех политических хитросплетений, связанных с казнями поэтов.

За несколько дней до моего окончательного разрыва с партией, я задал тот же вопрос одному из корреспондентов «Правды». Я был нежелательным гостем в красивом здании на Парк авеню, потому что я уже выявил свое критическое отношение к партии на страницах «Дэйли Воркер» и коммунистического журнала по вопросам культуры — «Мэйнстрим» («Главное течение»). В водовороте дипломатического приема этот человек из «Правды», говоря голосом «социализма» и «братства», сказал мне с большим раздражением — на английском языке, которым прекрасно владел:

— Говард, почему вы делаете такой большой шум из за евреев? Евреи! Евреи! Мы только это и слышим от вас! Неужели вы думаете, что Сталин никого не убивал кроме евреев?

Я готов принести присягу, что цитирую эти слова совершенно точно, — потому что есть слова, которые рассеиваются, как дым, но эти запечатлелись в моем мозгу. Когда мои дети были маленькими, мы делали «скакунов», как мы их называли. Мы вырезали фигуры и разные предметы и прикрепляли их одну за другой к сложенному листу бумаги. Когда бумага раскрывалась, лежащие фигуры вскакивали. Так для меня в этих словах раскрылась целая эпоха, ибо слово

«еврей» превратилось в эпитет, с которым неразрывно связаны коричневые рубашки коричневого дома в Берлине, газовые камеры и бойни, где из трупов убитых евреев делали зеленое мыло. И все же на реплику человека из «Правды» у меня не нашлось ответа: есть воспоминания, которые теряют всякое значение, если о них надо напоминать другому.

XX съезд КПСС начался и кончился, а вопрос — «где Исаак Фефер и как он умер?» — все еще встречался насмешливым молчанием.

Однако, смерть поэта не является таким маленьким делом, как думают многие. Один поляк со слезами на глазах сказал, что «ветер полон маленькими голосами», — и мало по-малу мы воссоздали историю Исаака Фефера. После XX съезда многие коммунисты ездили в Советский Союз и приезжали обратно, и каждый привозил с собой маленькую или большую часть этой истории. Возможно, что реконструкция истории Исаака не точна, но это все, что я мог узнать. Она начинается с ареста Давида Бергельсона, международно-известного еврейского писателя. Почему он был арестован, мы не знаем. По всей вероятности, это была часть все той-же «сионистской» легенды. Фактически Бергельсон был арестован просто потому, что он был евреем, независимо от всяких других причин.

Его посадили в тюрьму и систематически били, чтобы заставить сознаться в вымышленных преступлениях. Никакого «промывания мозгов» и прочих полунаучных, полуфантастических методов — только дубина и обжигающий завет Сталина: «бить, бить и снова бить».

Незадолго до смерти Бергельсона, Исаак Фефер узнал о том, где находится писатель и что с ним происходит. Будучи его другом, Фефер предпринял шаги, чтобы спасти Бергельсона. Писатели, один за другим, отказывались присоединиться к Феферу. Они боялись. Они говорили Феферу, что если он будет упорствовать, то его самого арестуют. Фефер обратился к Эренбургу, — и история свидетельствует, что и Эренбург отказался. Эренбург был важной персоной, он находился в хороших отношениях со Сталиным. Говорят, что Фефер кричал Эренбургу: — «Тогда я буду делать все один. И если меня арестуют и убьют, то моя смерть будет на вашей совести всю вашу жизнь!»

Так все и случилось. Из-за того, что им двигала человеческая совесть, Фефер погиб вместе с Бергельсоном. Где был тогда Фадеев, который застрелился после XX съезда? Где был Полевой, которого я любил и уважал, как вряд ли кого другого? Где был Симонов? Где был Шолохов? Где были все те, кто поучал мир чести и человеческой честности, — все эти люди социализма? Где были проповедники и праведники из «Литературной Газеты»? Где были те честные советские писатели, которые называли Америку варварской страной без прошлого и без культуры?

Да, мы казнили Сакко и Ванцетти, но наш собственный плач разлился по всему миру. Разве когда-нибудь мой голос не раздавался по поводу какой-либо несправедливости в моей родной стране? Во имя всего святого для вас, мои советские коллеги, — где были ваши голоса, когда убийство в вашей стране стало повседневностью? И еще сегодня вопрос о поэте остается без ответа.

Когда я пишу это, я не снимаю вины с себя. Я не ищу оправдания

в том, что подымал свой голос против здешней несправедливости. Джо-зеф Кларк, тогда редактор иностранного отдела «Дэйли Воркер», а перед этим корреспондент «Дэйли Воркер» в Советском Союзе, в январе 1957 года сидел в моей гостиной и плакал горькими слезами, за которыми скрывались душевная боль и ощущение вины: — «Если бы вы и Поль Робсон в 1949 году подняли свои голоса, сегодня Исаак Фефер был бы жив!»

У меня не хватило духа сказать: в 1949 году, я не знал (хотя это было известно многим другим вне СССР) о том, что Фефер был поставлен к стене и расстрелян. В этом смысле Кларк был прав в своем обвинении. Но мои советские коллеги упрекают меня не в том, что я этого не знал или не верил этому, — совсем нет. Они говорят, что я предал их не своим молчанием, а именно тем, что я не мог оставаться безмолвным.

О, как легко мы становились писателями! Нам так нравилось журчание рассказа и музыка слов, и мы так любили книги, которые мечтали написать! Нам никто не говорил, что все это превратится в страсть, а страсть — в проклятие, и что наши обязательства окажутся в противоречии со всем миром. Некоторые из нас познали, хотя и со страшной болью, истину — что бы мы ни делали, рано или поздно наши мечты неизбежно должны быть разрушены. Ведь, чтобы стать врагами повиновения, мы должны были отказаться от самих себя. Это превратилось как бы в изнанку старой фаустовской легенды: пока мы не плюнем в лицо дьяволу, в каком бы виде он нам не явился, мы не перестанем торговать нашими душами

В этой главе я хотел бы разъяснить положение писателя в современном обществе, когда коммунистическая партия находится от него налево, а доходная, высокооплачиваемая золотая середина — направо; разъяснить, но не осудить. Я могу только рассказать, что было со мной, и почему я, как писатель, не мог дальше оставаться в коммунистическом движении. Я почувствовал, что мое творчество не приносит мне больше никакой радости; наоборот, оно дает мне муки и болезненные воспоминания; и в то же время писательство — это единственное знакомое мне дело. Я никого не прошу оплакивать писателей. Наше занятие с давних пор считалось благородным, и я надеюсь, что когда-нибудь опять оно будет таковым.

Я не могу любить партию за то, что она сделала с нами. И при этом самое худшее было сделано не по отношению к мертвым. С живых также срывали покровы. Я — жив. Борис Полевой — жив. Мы были товарищами по движению, в которое я верил всем своим сердцем и всей своей душой; он — глава союза советских писателей, я — писатель-коммунист в Америке. Мы познакомились друг с другом по переписке — и из наших писем выросли и расцвели любовь и теплое чувство взаимного уважения.

Когда, наконец, я встретился с ним в Нью-Йорке, куда он приехал во главе делегации советских писателей, я обнял его, как любимого и старого соратника. Это был большой, доброжелательный, открытый человек, улыбка которого доставляла мне и моей жене радость. Он сказал нам, когда мы его тащили к себе домой: — «Вы не боитесь моего посещения?» Наше обоюдное влечение друг к другу объяснялось

тем, что наши жизни были содержательны, нам было чем поделиться друг с другом. Мы оба видели жизнь и испробовали ее, и основа нашей связи заключалась в братстве нашей профессии, пределы которой выходили за политические и географические границы. Это был замечательный вечер, во время которого сердечная теплота, близость и дружба подогревались напитками и едой.

Мы видели его и на следующий день — моя жена и я, на приеме, данном в его честь и в честь его товарищей. Опять та же теплота, та же близость и та же непосредственность. Нас было здесь человек двенадцать — русских и американцев, и наши чувства можно было выразить такими словами: — «К черту всякую политику и политиканов! Мы здесь объединились, пусть и народы наших стран объединятся друг с другом — так же открыто, и в таком же содружестве».

На этом вечере я был в числе той маленькой группы, которая разговаривала с Борисом Полевым. Разговор касался советских писателей и того, что они делают в настоящее время, — и так как Полевой не говорил по английски, то переводил мой старый друг, русский язык которого был безукоризненным. Безукоризненность его русского языка в данном случае была очень важна, потому что после этого я несколько раз проверял точность всего сказанного. Кто-то спросил Полевого, не может ли он сообщить нам какие-нибудь сведения о еврейском писателе Квитко. Мы объяснили Полевому, что уже некоторое время ходят слухи о его аресте в числе других еврейских писателей и даже о его насильственной смерти. Может ли Полевой рассеять эти слухи раз и навсегда?

Полевой сказал, что может, и что слухи эти, конечно, обычная антисоветская клевета. К счастью, он, Полевой, в состоянии опровергнуть ее, потому что Квитко в настоящее время живет в том же доме, где и он, Полевой. — Какое же может быть лучшее опровержение слухов? — сказал Полевой. Нас всех это очень обрадовало и мы вздохнули свободно. Мы спросили, что Квитко делает, — и Полевой нам ответил, что он заканчивает перевод и собирается писать новую книгу. Он добавил, что виделся с Квитко перед отъездом в Америку, и что Квитко просил передать привет его американским друзьям.

Так ответил Полевой — и при этом было слишком много свидетелей, чтобы это можно было отрицать. Но после отъезда Полевого и после XX съезда партии из еврейско-польских коммунистических газет мы узнали, что Квитко уже много лет нет в живых, что его замучили и убили, как Фефера и Бергельсона. Да падет неумолимое возмездие времени и истории на тех, кто виновен не только в убийстве, но и в растлении душ людей, — как то было с Борисом Полевым. Ведь сказанное им было не только трагической и чудовищной ложью; его измышления представляют собой как бы итог всего того, что коммунистическая партия делает с писателем.

Целая эпоха, чуть-ли не жизнь, закончилась для меня в период, последовавший за XX съездом КПСС. Было бы неправдой и невыносимым и тупым самодовольством сказать, что в течение всех тех месяцев, когда я раздумывал об измышлениях Бориса Полевого, я не задавал себе вопроса — не поступил ли бы и я так же на его месте? Я не могу ответить по-совести, — есть ли у меня ответ на этот вопрос, — потому что и я, как Полевой, прошел процесс проработки. Но человеческий ум — волшебный инструмент, способный выправлять искажения действительности. С самого начала моего партийного опыта я, как и многие другие, стал впитывать в себя и накапливать в себе ненависть. Я решительно утверждаю, что нет мало-мальски цельного и интеллигентного коммуниста, который во время пребывания в партии не заряжался бы такой же дозой ненависти. Ведь протестующих не легко принудить к послушанию, они должны быть приведены к покорности кнутом, — а кнут оставляет раны.

Я не пытаюсь описывать приобретенный мною в коммунистической партии личный опыт. Я просто упоминаю о ряде случаев, приведших меня к некоторым выводам, касающимся партии. Как писатель, я убедился, что все эти случаи были связаны с «комиссаром», — независимо от того, кто именно им был в данный момент. Он был хозяином моего разума и моих творческих мечтаний. Он служил для меня сдерживающим началом. Он был моей совестью, определявшей и регулировавшей мою связь с партией. Учением о добре и зле, как оно трактовалось на высшем уровне, выражаясь партийным языком, он восполнял мои собственные, примитивные представления о том, что правильно и неправильно.

В партии существует бесконечное многообразие «уровней», поднимающихся все выше и выше, вплоть до наивысшей мудрости Сталина. Достигнуть этой мудрости невозможно, к ней можно только прикасаться, ибо это высоты, недоступные для простых смертных.

Уровень, на котором находился я, был довольно низким и я оставался на нем в течение тринадцати трудных лет. Обо мне говорилось так: Фаст — хорошая вывеска, способный оратор, имеющий и другие достоинства, прекрасный и опытный рассказчик, но политически не очень развит. Поначалу я согласился с этим. При моем первом знакомстве с партией на общих собраниях, быстрое и умелое жонглирование аргументами и цитатами из их «священного писания», проявленное партийными вождями, равно как и их искусство полемики, оставили меня несколько смущенным и подавленным.

Первый комиссар, которого я встретил, платный организатор ячейки, к которой я был приписан, очень умно сумел скрасить это впечатление. Высокий, тонкий, лет сорока, похожий на интеллигента, он подчеркивал свою скромность и открыл передо мной два новых мира знания и искусства. Он признавал мои успехи и мою способность к восприятию знаний в некоммунистическом мире; но он подчеркивал свои знания в мире коммунистическом. Он весьма наглядно объяснил мне, что я нуждаюсь или в костыле или в крепком посохе, на который можно было бы опереться — это зависит от того, как на это смотреть. Он, возглавитель комъячейки, и является этим костылем или посохом. Он считал также, будто я всегда буду нуждаться в том, что в коммунистических кругах произносится, как святая святых, а именно — в «ясности». Само собой подразумевается, что в прошлом я жил в полной неразберихе, и что теперь я больше не мог себе этого позволить. Это было бы, по специфической фразеологии партии, «вредным для моего политического развития». Его же, возглавителя ячейки, приятный долг и обязанность — преподать мне эту, столь необходимую, ясность».

Здесь надо заметить, что подобное отношение, знакомое каждому коммунисту, полностью соответствовало моему раннему представлению о партийной структуре, как о храме, о партийной догме, как о священном писании, и о партийных деятелях, как о священнослужителях. Это было лишь началом моего опыта, а не концом.

В лице своего руководителя я видел красивого человека, который с должной скромностью раскрыл передо мной свою богатую эрудицию в вопросах, касающихся организации, в которую я вступил. Лично же я ничего не знал об этой организации, кроме ее названия и целей, к которым она стремилась. Прошли годы, прежде чем я начал понимать механизм этой организации и его функционирование.

В то время, о котором я пишу, был закончен мой роман «Путь свободы» и его выход в свет намечался в ближайшем будущем. Я дал прочесть парторгу один экземпляр, и он попросил у меня еще полдюжины. Он пояснил, что эта книга представляет собой целую проблему. Правда, я писал эту книгу до моего вступления в партию, тем не менее решить проблему было трудновато. Он не хотел, чтобы партия осудила меня и мой роман сразу же после моего вступления в партию, но подчеркнул, что как нападки со стороны партии, так и мое осуждение возможны. Такого рода нападки относятся к особой категории выражений партийного лексикона, они известны под названием «активизации принципов» и носят священный характер.

Услышав это, я пришел в ужас — чувство, которое впоследствии при издании моих книг стало для меня привычным. Я попросил парторга указать, какая же страшная ошибка совершена мной. Он поправил меня. В партийном лексиконе нет слова «ошибка», есть только неправильности, отклонения — «неправильность в оценке», «политические уклоны», «буржуазные замашки» и так далее. Я позволил себе такое отклонение.

— Очевидно, неправильное истолкование истории? — спросил я.

— Нет, — ответил парторг и объяснил, что мой уклон не связан с неправильным истолкованием истории. Неправильность гораздо серьез-

езнее. В своей книге я неоднократно пользовался словом «черномазый». Это уже само по себе является достаточным основанием для исключения из партии; если же к этому добавить, что Майк Гольд в своей статье в «Дэйли Воркер» узрел в моем предыдущем романе «Гражданин Том Пэн» троцкистские тенденции, — то может получиться очень серьезное положение. Это никак не значит, что он, парторг, согласен с Майком Гольдом. Он — человек глубокого здравого смысла и он категорически заявляет, что Гольд ни черта не понимает в этих вопросах, но — что поделаешь?

Я постарался оправдать употребление поставленного мне в вину слова в моей книге. Я объяснил, что применение этого слова, как нарицательного для негритянской расы, считаю позорным и преступным. Однако, в моей книге оно является необходимым, отражая собой те расовые предрассудки, которые книга стремится выявить и которые она осуждает. Изъятие этого слова из лексикона действующих лиц моего романа сделало бы их неправдоподобными и нереальными, и, как следствие такого изъятия, читатель нашел бы в книге анахронизм и надуманность. И, как бы то ни было, книга уже напечатана очень большим тиражем, и я теперь ничего не могу поделать.

Он выслушал мои аргументы, но не согласился с ними. Я, мол — во власти буржуазных предпосылок и мое увлечение натурализмом мешает мне понять смысл и значение социалистического реализма. Действительно, в некоторых случаях прямого цитирования партия допускает применение слова «черномазый», но в этих случаях оно ставится в кавычках. Однако, не все еще потеряно. Он дал мне понять, что у него есть влиятельные и сговорчивые друзья в верхах партийного аппарата: каждому из них он даст прочесть по экземпляру книги и если они поддержат меня своим авторитетом, то в данном случае может быть сделано исключение.

Я должен сказать, что политическая ловкость моего парторга оказалась успешной и, хотя осуждение меня партией висело на волоске, в конце концов партийная пресса хорошо отозвалась о моем романе «Путь свободы». Таким образом, хотя и с трудом, я перелез через первый барьер.

«Пути свободы» разошлись полностью. Два миллиона экземпляров были продано, и ни один роман нашего времени не пришелся так по сердцу неграм, как эта книга. Однако, та радость, те надежды и гордость, которые книга принесла неграм, не имели никакого значения по сравнению с нарушением мною специфического партийного психоза. В своей упорной борьбе против расизма, как это любили говорить в партии, коммунистическая партия Соединенных Штатов провела целый ряд мероприятий, удивительно похожих на то, что делалось партийными братьями в Советском Союзе. Партия занялась применением колдовских приемов магии, связанных с символическими словами и их волшебной силой, и, углубившись в это занятие, перестала бороться за права негров, — что и повело к потере их поддержки.

Безрассудность и нелепость привели партию к тому, что отдельные коммунисты, посвятившие многие годы своей жизни борьбе за права негров и в этой борьбе даже рисковавшие самой жизнью, в конце концов характеризовались партией как люди более зловредные, чем чле-

ны Ку Клукс Клана, известного своей ненавистью к неграм. Одному из моих ближайших друзей, который, как партийный организатор, провел годы, полные опасности и лишений, в одном из южных штатов и который был так же способен оскорбить негра, как прыгнуть на луну, — было предъявлено обвинение в том, что он непримиримый расист.

Людей выгоняли из партии за то, что они произносили слова «негр» или «черный», т. к. оба эти слова считались магическими и потому запретными. Применение этих слов белым человеком якобы свидетельствовало о глубоко укоренившемся в нем расизме.

Этот особый страх достиг таких размеров, что десятки коммунистов, знакомых мне лично, вообще избегали общения с неграми, — настолько они боялись запретных слов и поступков, могущих привести к исключению из партии. Работа среди негров проваливалась полностью и, наконец, сам глава партии, Вильям Фостер, должен был лично вмешаться, чтобы остановить процесс, угрожающий самому существованию партии. Многие члены партии, читая доклад Хрущева, вспоминали этот уродливый случай.

Следует также отметить, что партийные издания, вместо слова «негр», писали лишь буквы «н-р». Конечно, это слово может быть оскорбительным, как и многие другие слова, но такие слова являются частью социально-исторической реальности. Во имя какой бессмысленной стыдливости выпускаются из слова «негр» срединные буквы? Это, однако, типично для уровня морали, который создается коммунистическим движением и выдается за присущую именно партии мораль. Непоследовательность такой морали очевидна.

Целый ряд других эпитетов, столь же оскорбительных и находящихся себе применение особенно в еврейском вопросе, не имеет на себе партийного запрета, о котором мы говорили. Из этого следует, что к евреям коммунистические вожди относятся с меньшей деликатностью, чем к другим национальностям.

Познакомившись со всеми указанными странностями, читатель может быть задаст вопрос: — «Как могло случиться, что Говард Фаст, считающий себя интеллигентным человеком, попал в положение столь бессмысленное и нелепое? Почему он не повернулся и не ушел?»

Ответить на это не просто. Вначале я сказал себе то же, что повторял в течение многих лет: — «Я присоединился к этому движению, потому что я антифашист и потому, что я верю в мир и социализм. Что же касается деталей моей писательской деятельности, то хотя в отношении их я не согласен с партийным руководством, я не собираюсь уходить из партии из-за этого пустяка».

Годы шли, и я повторял это себе много раз. Я дошел до того состояния, когда, подобно многим другим коммунистам, мною начала овладевать нелепая гордость, что меня, мол, сломить нельзя, что мне не угрожает сумасшествие, и что я могу избежать исключения из партии. С годами «комиссары» сменялись, но характер психоза не менялся. Проявленное мною в этом отношении упорство не дает мне основания для гордости и факт, что я был принужден под микроскопом просматривать свои рукописи в надежде избежать критики, является

постыдным воспоминанием и вызывает во мне чувство презрения к самому себе.

Мое единственное оправдание и, может быть, заслуга состоит в том, что я продолжал грешить против партии.

Американская пресса относилась ко мне, как к человеку, занимающемуся коммунистической пропагандой. И когда коммунисты тоже обвиняли меня, я оказывался между двух огней, как и всякий другой писатель, принадлежавший к партии.

По справедливости я должен однако сказать, что я пострадал меньше, чем некоторые другие, потому что у меня было давно уже завоеванное положение в некоммунистическом мире, а также международная репутация, особенно значительная в Советском Союзе, где критика, по крайней мере об одной из моих книг, отозвалась очень благосклонно. Другие коммунисты не имели этого преимущества и многие из них были уничтожены в духовном и в творческом смысле, ударами, исхотившими от самой коммунистической партии.

Я очень мало могу написать об этих людях — потому что без указания имен авторов и названий книг все написанное будет мало убедительно, а привести все данные невозможно, ибо значило бы обречь на новые страдания людей, которые и без того перетерпели достаточно.

Существует мнение, что коммунистическим писателям дают задания — о чем писать. В этом мнении столь же мало правды, как и в большинстве распространенных о партии легенд. Это невозможно по двум причинам. Во-первых, у партийного руководства не достает ни ума, ни воображения, чтобы придумывать сюжеты для романистов. Второе — даже партийное руководство понимает, что подобная процедура снизила бы полезность и значение писателей.

Существует еще одно распространенное представление, — что писатели-коммунисты должны представлять свои рукописи на просмотр партии. В интересах правды я должен заявить, что никто из партийных руководителей не проявлял ни малейшего интереса к тому, что я пишу, и никогда не читал ни одного из моих произведений до их выхода в свет. Единственным исключением являлся Стив Нельсон, замечательный человек, который за все годы моего пребывания в партии никогда не был допущен в высшие, руководящие партийные круги. По отношению ко мне интерес появлялся только тогда, когда специалистами этого дела откапывались мои «буржуазно-литературные грехи» и о них докладывалось руководству.

Я знаю многих писателей, которые по собственной доброй воле и чувству дисциплины представляли свои рукописи на просмотр так называемым руководителям партии по делам культуры. Я видел, как эти рукописи варварски разрываются на части, подвергаются догматической обработке и полному выхолащиванию — до тех пор, пока писатель, побитый и утративший всякую уверенность в себе, сам не превращает свои произведения в бессодержательную шелуху. У меня лично был случай, когда рукопись моей пьесы «Тридцать сребренников» совершенно случайно попала в руки одного незначительного партийного чиновника: ему дала рукопись моя знакомая актриса. Прочтя рукопись, он позвонил мне по телефону, потребовал, чтобы я встретился с ним в условленном месте, и затем приказал изменить третий акт

пьесы. Его требование являлось полным произволом и не заключало в себе ничего, кроме злобной мстительности. Он грубо заявил мне, что очень близок к Перри, тогдашнему генеральному секретарю партии, и что, если я не сделаю в пьесе требуемых им перемен, он настоит на том, чтобы меня изгнали из партии. Он также довел до моего сведения, что Перри будет очень доволен иметь предлог для проведения этой операции. Я сделал требовавшиеся от меня изменения.

Перечисление всех подобных случаев было бы и унижительным, и скучным. Однако, теперь, оглядываясь назад, я должен сказать, что, несмотря на всю постыдность и унижительность, мне кажется, я был прав, стараясь не допустить исключения меня из партии. Если бы я позволил этому случиться, как то сделали многие, я потерял бы возможность оказывать влияние на сотни тысяч людей, разбросанных по всему земному шару и находящихся сегодня совершенно в том же положении, в каком был я.

И все-таки это было очень нелегкой задачей. Когда я опубликовал свой роман «Кларктон», меня обвинили в антипартийной деятельности — потому, что я изобразил ирландского рабочего-коммуниста, находившего утешение в бутылке, когда его проблемы становились слишком непосильными.

Когда вышла в свет книга «Мои славные братья», я был вызван в секретариат партии и обвинен в еврейском буржуазном национализме. В партийных кругах ходила горькая шутка, что любой национализм может быть замечательным и прогрессивным этапом в развитии народов, кроме еврейского национализма. Еврейский национализм — антипартийный, антисоветский, антипрогрессивный. Ирландские националисты — герои, но еврейские националисты — «верные псы империализма». Арабские националисты — патриоты, борющиеся против угнетения; еврейские националисты — слуги нефтяников, хотя нефтью изобилуют арабские страны и ее почти вовсе нет в Израиле.

Так как моя книга была посвящена борьбе евреев во времена Маккавеев, то это трактовалось, как явное поощрение еврейского национализма. В Советском Союзе очень просто разрешили возникшую проблему: там никогда не упоминалось об этой книге, о ней не появилось никаких рецензий. Само собой понятно, что она не была там издана. Даже когда советские ученые работали над весьма серьезной библиографией моих трудов, включавшей самые незначительные статьи, написанные мною для американских изданий, уже прекративших существование много лет назад, они тщательно избегали упоминания о книге «Мои славные братья».

Когда появился мой роман из времен американской революции — «Гордый и свободный», я был вызван на специальное заседание секретариата, в который входили Ганнет, Пэрри и Джером. На этот раз меня обвинили, и самым серьезным образом, в белом расизме, — и в категорической форме дали понять, что, если я не принесу публично раскаяния, я буду исключен из партии.

Мне всегда было особенно дорого это мое произведение — «Гордый и свободный», — последняя книга того времени, опубликованная крупным издательством. Она была выпущена в 1950 году издательством «Литтл и Браун». Вполне понятно, что в это время — время разгара

корейской войны и маккартизма — она не привлекла к себе достаточного внимания публики. Рискаю быть обвиненным в нескромности, я все-таки скажу, что считаю эту свою книгу одним из лучших романов об американской революции, появившихся за последние годы. Я считаю этот роман своим лучшим произведением того периода и, несомненно, наиболее задушевным трудом всей моей жизни. Я постарался выразить в нем сущность революции и раскрыть душу революционера, как она олицетворена Антоном Вайном в его «Парнях с Пенсильванской железной дороги». Я считаю эту книгу как-бы моей поэмой, созданным мною символом Америки. Я постарался восстановить язык того времени и, чтобы этого достигнуть, посвятил годы исследованиям и личному общению с теми, кто еще продолжал пользоваться языком своих предков. И мне кажется, что за исключением меня, это удалось только одному из современных наших писателей, Конраду Рихтеру.

Я надеюсь, что в один прекрасный день критики, более беспристрастные, чем те, которые судили о моей книге, решат — хорошо или плохо я выполнил свою задачу. Но для тройки, восседавшей на партийном суде надо мной, мои творческие искания не имели ни интереса, ни значения. Их занимал только мой старый грех, отметивший дни моего вступления в партию: а именно то, что я допустил в книге обычное для восемнадцатого столетия слово «черномазый», вложив его в уста колониальных солдат, действительно им пользовавшихся. За это я должен был написать самообвинение и публичное покаяние, и это покаяние должно было появиться на страницах журнала «Политические дела», вместе с дополнительным покаянием в том, что я сделал солдат того времени слишком образованными, т. к. их действия, как оказывается, противоречили основным принципам революционного развития, установленным марксизмом.

Этого сделать я не мог. Семь лет прошло со времени первого инцидента и я стал лучше понимать природу болезни. Смирился ли бы я тогда с исключением из партии, — я не знаю. По странной иронии судьбы я был спасен, если можно так выразиться, правительственными мероприятиями, направленными против журнала «Политические дела» и их редакторов.

Было решено, что в тот момент было бы неразумным помещать на страницах журнала мое покаяние. Через полтора года, когда вопрос мог бы опять выплыть наружу, на сцене появился новый козел отпущения — на этот раз мой роман «Спартак».

Я думаю, что только писателю будет понятно, какие усилия были мною приложены для создания «Спартак» — романа, написать который я давно мечтал. Книга развивалась в моем воображении и вылилась в определенные формы, когда я находился в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, я засел за писание трилогии в 1200 страниц, писал полтора года и, в конце концов, получилось 550 рукописных листов. Первый раз в моей жизни у меня было сознание, что я справился со своим материалом и создал книгу, которая выдержит испытание времени. Когда я перечитывал то, что писал на протяжении предшествующих двадцати лет, все написанное казалось мне незрелым и незаконченным. Я был охвачен сознанием удовлетворенности: мне удалось выполнить самую трудную задачу из всех, за которые я, как писатель, брался, мне удалось создать что-то действительно стоящее.

Я послал книгу семи издательствам и все они отказались ее опубликовать. Тогда, не желая подвергать себя дальнейшему унижению, я решил издать ее сам. Так началось — редакторство, печатание, упаковка, рассылка книги и, в конце концов, чудо: книга, изданная мною самим, оказалась одной из самых популярных и в течение нескольких месяцев разошлась в количестве тридцати пяти тысяч экземпляров.

Но «комиссар» знал, что я согрешил и должен понести наказание за свои грехи. В то время комиссаром был эксперт по культурным вопросам западного побережья, находившийся тогда в Нью-Йорке. Он был взбешен и возмущен моей книгой.

Моя глупость была неисчерпаема, моя неспособность учиться была неисправима. . . Больше двух лет я трудился, чтобы создать книгу, которая должна была быть эпической поэмой, воспевающей судьбу угнетенных, должна была стать воплощением стремления к свободе, воплощением идеалов человечества. Я трудился в полном убеждении, что развиваю и даю наиболее полное воплощение ценностей, являвшихся путеводителями всей моей жизни. Однако, бичующие слова комиссара свидетельствовали совсем о другом.

Я, мол, написал свое произведение в духе «жестокости» и «садизма». Он все время повторял эти два слова. В весьма категорическом тоне он сказал мне, что, по его мнению, «это плохая, дьявольская, разлагающая книга!» Он повернулся к Джерому, который стоял и слушал, и сказал: «Я думаю, Джерри, что мы должны осудить эту книгу и заклеить ее. Мы не смеем оставаться безучастными в этом случае! Я считаю, что эта книга должна быть уничтожена. Это разлагающая книга!»

Джером, конечно, отлично помнит этот случай.

Ни обсуждение, ни обзор, ни критика не имели места. Меня осудили, но, вопреки основным юридическим порядкам, мне не было дано возможности доказать или попытаться доказать мою невиновность.

Другое обвинение против «Спартака» заключалось в том, что в книге имеются психоаналитические термины. Это обвинение было сделано членом партии — женщиной, которая в своем лице воплощала единичное литературное ГПУ. Ее обязанностью, взятой ею на себя совершенно произвольно, но вместе с тем носившей полуофициальный характер, было выискивание в книгах незаметных отклонений от партийной линии. Наряду с другими словами, особенным преследованием подвергалось выражение — «внутренняя борьба». Эта внешне безобидная придирчивость к отдельным словам и фразам превратилась в наиболее убийственный для писателя способ цензуры над ним.

В конце концов все же выяснилось, что уничтожить «Спартака» комиссары не могут. Мелкие уколы самолюбия, причиненные отказом партийных издательств помещать рецензии о моей книге, написанные в благожелательном тоне, были во много раз превзойдены успехом книги и потонули в энтузиазме, с которым коммунисты читали ее. Книга распродавалась — издание за изданием. У комиссаров была власть, но эта власть ограничивалась партийной структурой, а структура начала расшатываться.

В ту ночь я понял одну вещь: моя жизнь, мое творчество и мой талант, воплощенные в этой книге, обречены партией на уничтожение. Я совершил грех, ослушался, создал то, что считал себя обязанным создать, — и это было преступлением. Коммерческие издательства выбрасывали меня из своих контор за то, что я коммунист; коммунистическая партия подвергла меня строжайшей дисциплинарной муштре, потому что я писатель. В ту ночь я сидел на кровати и плакал, ибо это был конец.

Но даже в ту ночь, когда мое поражение, как писателя и художника, казалось мне полным и окончательным, чаша горечи, которую мне предстояло осушить, была мною только пригублена. Коммунистическая бюрократия решила, что случай со «Спартакком» должен быть использован для решительного сражения со мной, — и битва должна быть доведена до победного конца. Среди этих людей не было никого, кто бы имел вкус к литературе, кто бы знал ее нюансы и тонкости. Но я думаю, что в данном случае они почувствовали глубокую истину, а именно — что в жизни каждого писателя появляется произведение, всплывшее из самых глубин его чувства, знания и жизненного опыта. Для меня и тогда, и теперь «Спартак» — книга, воплотившая все мое существо.

Чтобы сделать ясным все происшедшее, я должен немного рассказать о содержании книги; стоит это сделать и потому, что происшедшее отражает самую сущность коммунистической цензуры и критики.

Как вы вероятно помните, Спартак был фракийским рабом и гладиатором в древнем Риме. Он организовал мощное восстание рабов, чуть не приведшее к падению Рима. О Спартаке и его товарищах по оружию известно очень мало, и поэтому большая часть романа должна была создаваться на основании немногочисленных фактов, бывших в

моем распоряжении. Одним из таких фактов был рассказ о Варинии, жене Спартака, и об их глубокой взаимной любви. По преданию Вариния попала в плен к римлянам после их победы над одним из тевтонских племен, находившихся тогда на ступени развития, сходственной с нашими индейцами северо-восточных лесов во времена появления на континенте белого человека.

Хотя я писал книгу одновременно символистическую и реалистическую, я старался верно изобразить историческую обстановку и быть как можно ближе к истине, или хотя бы к правдоподобию. Никто не знает, что случилось с Варинией после смерти Спартака. Я позволил себе создать такую психологическую обстановку, в которой Вариния для двух главных героев книги, римлян, стала символом того, чего так не хватало в их жизни — чистоты и цельности. Один из этих римлян, Красс, аристократ-полководец, способствовал окончательному поражению Спартака. Однако он пришел к заключению, что его победа не будет полной до тех пор, пока он не будет обладать Варинией по ее доброй воле. Он привозит ее в свой дворец, в Рим. В это же время другой римлянин, Гракх, политический деятель, вождь римского пролетариата, человек низкого происхождения, но талантливый, хотя и жестокий, возглавлял политическую борьбу против Спартака. Усилия этих двух человек уничтожили вождя рабов, но сами они ненавидели друг друга. Гракх стремился отобрать Варинию у Красса и предоставить ей свободу и возможность вернуться в свое племя, — несмотря на физическое влечение к ней. При очень непривлекательной внешности его гордость была так велика, его чувства так утонченны, что мысль о возможности вызвать в Варинии отвращение, подавляет в Гракхе всякое желание обладать ею. Единственно о чем он ее просит, это уделить ему несколько часов разговора и объяснить загадку, которая его интересует — загадку Спартака.

Во время этого разговора Вариния поддается невыразимому очарованию Гракха, обаянию его личности — не физическому, а вызванному тем, что она в первый раз встречает человека совершенно иного склада, чем Спартак. И, несмотря на то, что Гракх был смертельным врагом ее погибшего мужа, она не может не отдать должного человечности и достоинствам Гракха. Понимая, что Гракху грозит смерть от руки Красса, если он останется в Риме, она умоляет его бежать с ней, разделить с ней ее дар свободы. Он отказывается. Перед уходом Вариния целует Гракха, как целуют человека, решившегося умереть за вас и за вашу свободу, и оставляет его судьбе, которую он сам выбрал.

Для меня эта сцена имела очень большое и важное значение, и без нее вся книга теряла свой смысл. Древний Рим, если от него отнять странную и сложную доблесть, олицетворяемую Гракхом, теряет свой смысл. Его слава в этом случае не находит себе объяснения, и его сложная, многосторонняя природа, такая богатая и изумительная, ничем бы тогда не отличалась от пустыни Идумеи. В течение долгих месяцев, что я писал эту книгу, я стал любить и уважать Гракха. Что это был за человек! Какая храбрость, какое чувство достоинства, какая сила, какая любовь к истине, независимо от того приятна она или горька, обитали в этом грузном теле! Даже его имя было символично. И даже больше. Гракх был редким исключением среди выдающихся политических

деятелей — таким, которые, несмотря ни на что, никогда не порывают нитей, связывающих их с народом.

Вот что было в этой книге, понятное любому читателю, имеющему хотя бы на грош способности видеть вещи, как они есть. И действительно, громадное большинство читателей поняло естественную непосредственность поступка Варинии — отклика женщины, для которой свобода ее народа неразрывно связана с ее личной свободой и составляет то, без чего она не мыслит жизни.

Сотни читателей говорили мне, что они нашли этот роман прекрасным, как символическое произведение, возвышающее имя человека.

Но не так думали комиссары! По их понятиям, в сцене, описанной выше, я превзошел все мои прежние прегрешения. Я восхвалял «капиталистического зверя», а именно Гракха. Я унизил чистую «коммунистическую» женщину, женщину из рядов угнетенных, а именно Варинию. Я не преувеличиваю, я не шаржирую, я точно описываю то, что произошло. Послушайте, что говорится в окончательном разборе моей книги, появившемся в «Дэйли Воркер» 17 февраля 1952 года:

«Чего здесь хотят достигнуть? Имеем ли мы здесь дело с идеальным видением вечной женственности, которое воспевал Гете и которое возвышает нас всех — и угнетаемых, и угнетенных?» . .

«Финал Фаста нереален и как искусство, и как философия. Правда, некоторые личности из дегенеративного класса способны оторваться от своей среды и примкнуть к более прогрессивному классу, но нам кажется искажением смысла истории и насилием над правдоподобностью, что такого рода эпизод может иметь место в форме стремления к половому удовлетворению со стороны личностей, которые сами по себе символизируют упадок Рима. Сейчас мы переживаем другую форму той-же классической темы. Можно ли себе представить нациста, добивающегося любви русской женщины? Это, поистине, может привести к заключению о возможности объединения классов на сексуальной почве. . . В этом чувствуется влияние разлагающих фрейдовских измышлений о том, что эротика противостоит социальной базе характера» . . .

Это не смешно, так как это одновременно и трагично, и отвратительно. И я внес эту критику в мой альбом газетных вырезок, положив ее рядом с антикоммунистическими рецензиями, в которых высмеивался «марксистский Рим» и мои герои, похожие на «комические персонажи». Но я писал свою книгу не для похвалы.

То, что я был предан анафеме, понятно, но не понятно отношение ко мне моих товарищей, которые знали, что я писал во имя нашего общего дела и борьбы за него. Я хотел критики, я крайне нуждался в ней, но в течение всех лет моего пребывания в коммунистической партии я никогда не читал ни строчки, которую можно было бы назвать честной и продуманной критикой. На меня сыпались обвинения, подобно указанным, перемежавшиеся с одинаково смешными, нелепыми и бессмысленными похвалами, которые конфузили меня.

Я не называю автора приведенной рецензии, потому что знаю, как ему сейчас и противно, и стыдно вспоминать об этом. Я также воздерживаюсь от указания имени издателя коммунистического журнала, который отказался напечатать одну рецензию на мою книгу только из-за того, что в ней отсутствовали нападки на меня и желание меня уничто-

жить. Другой издатель, один из моих близких друзей, надломленный и потерянный, месяцами не опубликовывал никакого отзыва, потому что боялся всего, что в вопросе о книге шло в разрез с комиссарской линией. Часами умолял он меня понять его затруднительное положение.

Мне это было понятно, как понятно было и то, почему он печатает в своем журнале статьи против психиатрии, в то время тайно благоволея перед психиатрией, как наукой, и отлично понимая, какие чудеса она совершает. В конце концов он напечатал рецензию еще более злобную и жуткую, чем появившаяся в «Дейли Воркер». Согласно этой рецензии, я оклеветал негритянскую женщину, ибо она по своему положению наиболее угнетена. И в развитие этой мысли автор рецензии заявляет: «Разве наша коммунистическая женщина могла бы поступить так, как поступала Вариния?» И так далее, в таком же духе.

У меня мало оснований жаловаться. Я не ушел из партии, а всем известно: что посеешь, то и пожнешь. Но искра, которая горела во мне и которая давала моим произведениям их страстность и содержательность, так нравившиеся моим читателям, — эта искра во мне угасла.

21.

После этого я написал ряд книг и издавал их за свой счет. Потерял на этом много денег из моих сбережений, разделив участь всех писателей, ставших издателями своих произведений. Это были книги, написанные хорошо, как и следовало ожидать от квалифицированного профессионала, посвятившего литературному труду почти двадцать лет.

На таких книгах нельзя было бы потерять деньги, но искра жизни и пламя страсти, присущие моим лучшим произведениям, в них отсутствовали. Зато отсутствовали в них и «уклоны», ошибки, за которые меня раньше преследовала партия. В них не было искры Божьей, но они были согласованы с партийным катехизисом.

Эти мои книги были хорошо приняты партийными вождями, которые, впрочем, никогда не утруждали себя их чтением. И все же было бы совсем неверно из всего мною сказанного сделать вывод, что партия относилась к писателю только пренебрежительно. Наоборот, на основании своего богатого исторического опыта, партия в полной мере учитывала роль и значение писателя, как неотъемлемой составной части движения — рассматривая его в то же время и как опасного потенциального врага.

Когда писатель-партиец всецело проникается таким отношением к себе и старается согласовать его с проблемами, стоящими перед ним, как партийным писателем, он с течением времени утрачивает уверенность в себе и его начинают одолевать сомнения. В партии же к нему относятся как к способному, но ненадежному ребенку, и поэтому его попеременно то преувеличенно хвалят, то преувеличенно шельмуют.

Первый наказ, получаемый от партии и исходящий, как утверждают, от самого Сталина, заключает в себе частицу партийной премудрости, партийного ритуала. Этот наказ гласит: «Писатель — инженер человеческих душ».

Неважно, написал Сталин эту фразу или нет, — я лично этому не верю. Кто знает, что именно из сталинских произведений было написано им самим. . . Важно то, что это было принято и служило символом веры. Мы, конечно, никогда не осмеливались высказать свое мнение и указать на нелепость этого утверждения, исходящего от человека, вообще отрицавшего существование души. Наш отрицательный взгляд погашался однако лестным отношением к писателю, заключавшимся в этом наказе. Нет сомнения, что писателю лестно думать о себе, как об инженере человеческих душ; но это приводит и к некоторым осложнениям, отражающимся на психологии писателя. В нормальных условиях, в нормальном мире, или хотя бы в некоммунистическом мире,

профессиональный писатель не придает столь чрезмерного значения своим произведениям: он понимает, что совсем необязательно, чтобы его создания лепили человеческие души или вызывали великие потрясения. Он трудится как мастер, создавая, в зависимости от обстановки и своих способностей, плохое или хорошее произведение. Если он живет в царстве тирании, его творчество ограничено и он подвергается взысканиям за всякое ослушание. В коммунистической партии, однако, его труд окружен ореолом, полным мистического значения. Он больше не труженик-автор, а инженер человеческих душ: он или орудие в руках власти, или враг этой власти. Смеху и непосредственности больше нет места. Радость, доставляемая самим процессом творчества, исчезает под давлением партии.

Нигде теоретическое исследование процесса творчества не разработано так тщательно, как в коммунистической партии, и нигде результаты не оказались более бесплодными. Я не был компетентным наблюдателем этого процесса и не претендую на то, что знаю больше других; на самом деле, если бы этот процесс не захватил и меня, мои утверждения потеряли бы свою убедительность. Мои критические писания того времени носят на себе печать той-же натянутости, мертвящей ограниченности и нетерпимости, которыми отличался весь остальной партийный материал.

Только мое глубокое расположение к Минкину удержало меня от участия в глупейшей клевете, распространявшейся о нем Майком Гольдом и другими. Тоже самое относится к Евгению О'Нейлю и другим, кого высмеивали Майк Гольд, Джон Лаусон, Джером — за то, что они были людьми с воображением и фантазией.

Я уклонился от бессмысленных нападок на этих людей, но за это я обязан был нападать на других; сам извиваясь на крючке у своих «товарищей», я избавлялся от своих мук, причиняя мучения другим. Я отделил мой рассудок от моих душевных переживаний; и не говоря уже о том, какие страдания испытывали другие, — моей собственной душе был причинен большой ущерб.

Особенно памятен мне один типичный случай. В 1942 году, уже ощущая последствия моего пребывания в «черном списке», я решил для заработка написать роман под псевдонимом. Это мое создание, по выражению Грахама Грина, можно назвать развлекательным и я получил от него большое удовлетворение. Мое произведение носило название «Падший Ангел», и в нем в легкой юмористической форме я старался обрисовать страхи и нервность, характеризующие атомный век. Первое же издательство, получившее это произведение, согласилось опубликовать его. Однако, по некоторым признакам издатели узнали, что автор этой книги — я. От мысли, что опубликуют мое произведение под псевдонимом, они пришли в замешательство и решили, на внутренней стороне обложки поставить мое настоящее имя. Они это сделали, чтобы избежать обвинений, которые могли бы возникнуть.

В результате это не только создало осложнения для распространения книги на рынке, но и как и следовало ожидать, прицепились партийные придирки и возвели на меня целую уйму обвинений, заключающихся в том, что мол в этой тайно написанной книге проявились все мои скрытые «буржуазные» тенденции.

Нелепый комизм положения не был однако смешным для самого писателя, — ибо для автора вопрос его умственного и морального уничтожения лишен всякого комизма. И, в конечном итоге, как это и было в моем случае, писатель не может избавиться от ответственности за свое произведение.

Между великими трагедиями человечества трагедия писателя является и наименьшей, и наименее наглядной.

Такова моя история. Она далеко не исчерпывает всех происшествий, случившихся во время моего пребывания в коммунистической партии, но вряд ли я мог бы описать полученный мною в ней опыт полнее, и вряд ли у меня появится желание это сделать. Этот опыт не такой, чтобы о нем охотно говорить. Читающие мою книгу в надежде найти в ней сенсационные разоблачения, будут разочарованы. В ней нет никаких сведений о так называемом коммунистическом заговоре. Что касается меня, то я считаю, что в той форме, в которой о нем говорят профессиональные антикоммунисты и любители сенсаций, коммунистического заговора не существует. Это бессмысленное измышление для того, чтобы заслонить им действительность гораздо более ужасную и зловещую, чем выдумки фантазеров — а именно, подлинную правду о том, что представляет собой коммунистическая партия.

Те из нас, кто причисляет себя к писателям, имели в коммунистической партии совершенно особый опыт, который я попытался приоткрыть. Рассказанное мною должно казаться странным, а людям, обладающим развитым воображением, может показаться и ужасным. Один из главных лозунгов протестантской реформации отражал стремление к восстановлению и к возведению на новые высоты принципа личной ответственности человека перед самим собой и своей совестью, — принципа, заложенного в вероисповедании библейских пророков. Евреи в процессе развития своего пророческого монотеизма (я говорю здесь скорее о социальной, чем о религиозной эволюции) выдвинули идею договора между человеком и Богом, и идея этого договора является основой пророческого иудаизма. Одним из порождений этой идеи явилось понятие ответственности за свои личные действия. За действия, зависящие от воли человека, человек несет ответственность перед обществом и перед Богом, ибо человек получил право на принятие единоличных решений вместе с ответственностью за эти решения.

Воскрешение воинствующим протестантизмом указанной концепции послужило громадным толчком к развитию западной культуры. Благодаря восстановлению этой идеи, известные моральные ценности, исторически сложившиеся в процессе борьбы угнетаемых народов с тиранией, были выдвинуты на первый план, как неотъемлемые свойства человеческого сознания. Человеческая совесть не рождается вместе с людьми. Совесть является результатом развития общества — включая семью, племя и нацию. И когда в результате такого развития появляется нравственный кодекс, возникающий в извечной борьбе человека против угнетения, рабства и несправедливости, то естественно, что в

нем отражается гуманизм в сочетании с милосердием и справедливостью. Кроме того, кодекс этот указывает путь к все расширяющимся горизонтам человеческой свободы.

История изобилует примерами периодического революционного движения человечества вверх по лестнице социальной эволюции. И до эпохи большевистской революции каждое такое явление приносило известное расширение личных свобод. И это было всего более заметно на тех стадиях, которые марксисты называют буржуазными революциями. Большевистская же революция, напротив, устанавливает уменьшение личной свободы, якобы в качестве средства для достижения полной и конечной индивидуальной свободы в будущем. . . Эта установка вытекает из развития теории диктатуры пролетариата.

На протяжении всей книги я поднимаю вопрос: допустимо ли существование глубочайшего противоречия между тем, что является сущностью конечной цели, и тем, что составляет средство для достижения цели. Мне кажется, что это недопустимо. Комиссар является «старшим братом» и его роль, в основе своей, заключается в том, чтобы своим авторитетом подменить ответственность каждого человека перед его совестью. Существование комиссара предполагает такое положение, когда природа добра и зла изменилась настолько, что распознание их на основе личной совести становится невозможным без помощи этого комиссара. В конечной стадии личная совесть уничтожается и ее заменяют непогрешимые распоряжения, издаваемые комиссаром, выполняющим свою священнослужительскую функцию. Тот адский кошмар, к которому неизбежно ведет такое положение, описан Хрущевым в его секретном докладе. Общество, где у личности отнята совесть, само неизбежно теряет и этику, и мораль. Понятие добра и зла теряет свой смысл и значение, так как нет больше меры для их определения.

То самое политическое движение, которое, в свое время, переживая гонения, клялось навсегда отменить смертную казнь, — в настоящее время издевательски высмеивает эту клятву. Убийства не рассматриваются больше с точки зрения добра и зла, а расцениваются лишь с точки зрения их полезности или ненужности. То же самое относится к пыткам, к свободе слова и ко всем остальным аспектам социальной справедливости. Наиболее горькая насмешка, поистине дьявольская, заключается в том, что исторически сложившаяся человеческая совесть отражает наиболее важные, наиболее необходимые права и стремления человека — и вот именно это то основное качество человеческой совести коммунистической партией отвергается*).

*) Одно из наиболее важных определений, данных Карлом Марксом, касалось понятия о свободе, которое он определил, как «осознанную необходимость». И именно это осознание толкает людей к переменам и улучшениям социальных условий. Однако, в хрущевском докладе и в многочисленных апологетических высказываниях после него мы находим намеки на то, что бесчисленные жертвы кровавой бойни могут, мол, быть объяснены преувеличенными опасениями угрожавшей Советскому Союзу иностранной агрессии. Такое извращение догмы Маркса и уничтожение свободы во имя свободы является типичным для дегенеративного мышления коммунистов.

Весь мир и все человеческие мечты, надежды, вся цивилизация висят, так сказать, в воздухе — в то время, как два гиганта, оба уверенные в своей правоте, стоят друг против друга, готовые к столкновению. И если между ними и имеются принципиальные различия, то вместе с тем между ними есть и много общего. Мы придерживались известных легальных путей в ходе демократического развития. Советский Союз шел по иному пути. Но — опьяненные властью хозяева коммунистической партии останутся только до тех пор, пока народ будет терпеть их, а вместе и созданную ими азиатско-церковную организацию догматических начетчиков и партийных бонз. Только наша собственная глупость может помешать этому и соединить воедино народ и коммунистическую партию.

Таково общее мнение всех писателей, которые были коммунистами. Все мы были оболещены легендой о свободе и братстве, которую обещала химера, воплощенная в коммунистическую партию; но когда мы ознакомились с тем, что за ней скрывается, мы были вынуждены бороться с нею. Многие из моих товарищей по партийному прошлому в разных странах заплатили за опыт своей жизнью. Быть может, многим еще долго будет казаться, что все, к чему они стремились — это превратить в поэму их собственные представления и их идеологические упования. Они должны были за это умереть, — и мы, быть может, узнаем со временем, что их жертва была не напрасна.

Моя собственная история может показаться скучной; но хотя она является лишь ничтожной частью целого, она имеет глубокое значение. Непрерывные оскорбления, обиды и разбитые надежды, испытываемые в рядах коммунистической партии людьми, подобными мне, являются фактом малозначительным. Они дают интересный материал для сенсационных сплетен, но я в этом не заинтересован. Моей задачей является описание того, что делали партийные комиссары — вожди, чтобы уничтожить меня, как писателя.

У них ничего не вышло. В отношении всех писателей, достойных носить это имя, которые когда-либо принадлежали к коммунистической партии Соединенных Штатов, попытки их уничтожить закончились полным провалом. В тех странах, где у партийных комиссаров нет возможности применять такие средства принуждения, как пытки и расстрелы, их попытки подчинить себе писателей неизменно оказывались безуспешными. Но даже и в тех странах, где власть у комиссаров в руках, писатели не всегда бывали им послушными. До известной степени это применимо и к остальным людям. Совесть писателя лежит в основе его искусства и когда он идет с нею на сделки, он дорого расплачивается за это. Однако, и все другие люди также вынуждены платить за сделку с совестью.

Нам при этом должно быть понятно, что для коммунистического писателя не проходит даром ни избавление от коммунистического плена, ни предшествующая моральная гибель как писателя. Таким образом по сравнению с другими людьми писатель платит за свой опыт в партии вдвойне. И за каждый опыт подобного рода он платит частью своей жизни.

Мне вспоминается вечер в Нью-Йорке, в 1946 году, проведенный мною и моей женой с Альфредом Канторовичем. Это был его послед-

ний вечер в Америке перед возвращением в советскую зону Германии. Вечер этот нам был очень дорог. Мы много раз хотели с ним встретиться, но всегда что-нибудь этому мешало. Теперь он возвращался домой.

Канторович был немецким антифашистским писателем. Он был ветераном испанской гражданской войны и, следовательно, изгнанником, изгнание которого после долгих испытаний кончалось. «Я опять буду жить на родине», — говорили его глаза, глаза усталого, изможденного человека, но эти глаза горели теперь надеждой, никогда им не утрачивавшейся. Ничего не было удивительного в том, что в песнях, в рассказах и в драматургии этот человек казался нам странным и одиноким, но, одновременно, благородным героем и мучеником наших дней. Он был творцом песни, известной всему миру, и чувство, заложенное в ней, разделял весь мир. «Мы не сдаемся, — говорили слова этой песни. — Мы не отступим никогда, ни при каких условиях. . .» Теперь он возвращался домой.

Мы говорили с ним без конца; время летело. В том, что он говорил, была доля сочувствия, доля молчаливой симпатии, так как в Америке зазвучали первые нотки репрессий и, как он твердо верил, возвращался в страну восторжествовавшего социализма, равенства, справедливости и полного торжества демократии. Мы же оставались здесь и наше будущее было неизвестно.

Так мы думали, и в то время так думать и заблуждаться было легко. Предпосылки, лежавшие в основе этих представлений, были тогда непоколебимыми, а то издевательство над человеческим духом, которое мы познали позднее, нам было еще неизвестно. С течением лет вера начала убывать. Трудно найти точку перелома в этом процессе; запоминается лишь отправная точка, если исключить такие случаи, как дело товарища Кедрова, когда была достигнута полная мера самоуничтожения. Мы не зашли так далеко и я отметил вехи на том пути, который прошел. Отметил точки, определяющие исходную позицию. Мне хорошо знакомы все окольные пути, пройденные Канторовичем с момента нашей разлуки в 1946 году. Вначале мы переписывались очень часто, потом все реже и реже, так как все меньше и меньше становилось того, о чем мы имели возможность написать друг другу. И, наконец, оттуда, из-за океана, из Федеративной Германской Республики, прозвучал голос Канторовича: — «Для меня нет больше иллюзий».

В сознании возникает фраза: «революция писателей». Но это не так. мы не сделали революции. Мы создали лишь шум, производимый разбитыми сердцами. Сартр, высказывая чувства ненависти и возмущения по поводу советской интервенции в Венгрии, резко подчеркнул, что право обличать коммунизм нужно заслужить. Неужели это все, что мы заслужили в течение многих лет, результатом которых были разбитые упования и физическая истерзанность? !

Когда Канторович, всего лишь несколько дней назад, смог избавиться от коммунистической кабалы, он сказал: — «Я оставил страну, в которой царствует террор Ульбрихта».

Если вы хотите понять XX век, вы должны понять не только то, что он высказывает, но всю жизнь — скажем, этого человека. Жизнь показывает нам два противоположных полюса. На одном из них —

фигура Канторовича в его монументальном и одиноком величии, а на другом — товарищ Кедров, раздавленный морально и телесно человек; и между этими полюсами — общая трагедия всего, связанного с коммунизмом. Коммунизм представляет собою нечто гораздо более глубокое, более ужасное, более внутренне-значительное и более человеческое для всего мира, чем глупые рассказы о конспиративных замыслах для низвержения правительства Соединенных Штатов путем насилия и заговора; коммунизм — явление более значительное, чем нелепые вымыслы больной фантазии, фигурирующие в телевидении и в выступлениях профессиональных свидетелей.

Что вынужден был бросить Канторович, когда он бежал от коммунизма? В своем выступлении он упоминает о библиотеке, рукописях, переписке, записках и всех тех драгоценных для писателя материалах, при помощи которых он совершает путь по нашему странному и удивительному миру. В этом выступлении Канторович говорит о себе, как о беженце, ибо каждый бедняк, как бы беден он не был, все же владеет какими-то вещами и сувенирами, вроде стоптанных башмачков первого ребенка, или снимками, книжками, личными документами. Как бы человек не был беден, но он все же что-то имеет. Беженец же не имеет ничего; он гол, как сокол.

Другие вещи, оставленные им позади, не поддаются перечислению. Я знаю и в то же время не знаю Ульбрихта. Он не так бесчеловечен, как Гитлер, и не так враждебен всему человеческому, как Сталин. В этом есть различие. Гитлер ополчился против всех неотъемлемых прав, которые человечество себе завоевало. Он обратился против свободы, морали, богатства и красоты культуры. Сталин же просто все это отбросил. Ульбрихт уверен в своей правоте, потому что в качестве верховного жреца он служит у алтаря голого бога; где-то, на самом дне его иссохшей души, у Ульбрихта живет сознание, что его бог — голый, но Ульбрихт уже пережил ту стадию, на которой знание истины в состоянии помочь освобождению человечества. Он потерял связь с человечеством. Для него не существует больше упований или грез о воплощении высоких надежд. У него остались лишь заботы о сохранении власти и о признании его непоколебимой правоты. Бесполезно думать о том, нормален он или не нормален. Важно лишь то, что он стоит совершенно вне нас и вне нашего общества. Также важно и то, что Канторович является частью нашего общества. Он связан с нами. Кто же может остаться равнодушным к тому, что говорит Канторович?

«Прощайте надолго, если не навсегда, друзья и сотоварищи по дням нашей общей борьбы против кровавого нацистского террора! Я прощаюсь с теми товарищами, которые, веря, что они сражаются за правое дело, рисковали своей жизнью вместе со мной в интернациональной бригаде в Испании. С теми товарищами, которые были на передовых линиях Мадрида, Прозобланко, Теруэля, а не в тыловых штабных квартирах Альбасете, Валенсии и Барселоны. С теми товарищами, которые затем попали в плен и в концентрационные лагеря и тюрьмы. И, кроме них, я должен проститься также со своими уважаемыми коллегами по философскому отделению университета имени Гумбольдта. Я хочу проститься с моими ассистентами, студентами и коллегами по научной и литературной работе. Они не должны называть меня измен-

ником, ренегатом — только из-за того, что я стремлюсь остаться верным самому себе. Я не хочу, чтобы они были вынуждены обзывать меня ругательными словами и плевать в мою сторону».

Вдумайтесь в слова Канторовича! Сартр определяет это состояние так: — «Я говорю, что человек осужден быть свободным, осужден потому, что не создал себя сам; но в то же время это не лишает его свободной воли, так как, попав в этот мир, он несет ответственность за все, что он делает».

Я не знаю, является ли это действительно предельной истиной, как не знаю и того — существует ли вообще такая истина, но мне кажется, что это — наиболее правдивое определение того, что собой представляет писатель. На нас лежит тяжесть воссоздания. Мы населяем наши страницы образами и людьми не как творящие боги, а как наблюдатели, закованные в цепи. Мы привязаны цепями к реальности человеческого братства, ибо когда мы беремся за перо, мы продаем свою душу не дьяволу, но тому, что представляется нам идеалом человека. И если мы не изменяем ему, он награждает нас в соответствии с нашими способностями. Мне кажется, что это относится ко всем писателям; так же, как и в других профессиях, между писателями есть способные и неспособные, гениальные и бездарные, но иначе и быть не может. То, что мы делаем, мы делаем в меру наших сил. Некоторые очень убого, некоторые блестяще; но когда мы бежим от ответственности, возложенной на нас самой природой нашей работы, мы лучше, чем кто бы то ни было другой, видим распадение таланта, которым обладаем. Кто может сказать, какие силы заставляют людей делать именно ту работу, которую они научились делать и которую делают, как могут. Это лишь часть той громадной загадки, какую представляет собой человеческая жизнь и судьба.

Но мне кажется, что те из нас, кто прошел через все и смог вырваться, резко и бесповоротно, — не остались без вознаграждения. Мы научились чему-то, являющемуся исключительно важным в наше время — а, как известно, наука не дается без труда и неприятностей ученья. Тем сильнее и тем мучительнее страдания тех, кто не в силах решиться на разрыв. Мы бредем через странные, незнакомые края, но наше странствие приходит к концу. И какие бы трудности не ожидали нас в конце пути, по окончании его мы вознаграждаемся совершенно особым ощущением окружающей нас благодати и спокойствия.

В конце концов, все-таки, остается ощущение страха. Ощущение страха такого, какого не могло бы быть, если бы коммунистическая партия была организацией обычного типа. Этот страх особого характера и по своему существу он глубже и ужаснее, чем обыкновенное ощущение страха — к нему примешивается сознание, что вы посвятили себя ложным богам и служили им верой и правдой.

Недалекие люди говорят: — «Почему вам потребовалось так много времени, чтобы узнать правду о партии? Эта правда была нам всегда известна».

О какой «правде» идет речь? В этой книге я описываю то, что только немногие вне партии могут себе представить, могут понять. Что касается тех, кто принадлежит к партии, то их положение в ней представляет собой настолько сложный комплекс, что только немногие могут в нем разобраться. Я уже рассказывал о человеке, который с возмущением говорил о советских вождах:

«Мы, коммунисты, учили, как умирать достойно и отважно, — но когда пришла наша очередь умереть от руки этих убийц, палачи лишили нас даже утешения умереть достойно».

В этом и заключается, в сущности, вся сложность положения. И если отрицать некоторые благородные стороны коммунизма, то нельзя осмыслить и понять того ужаса, который имеет место в коммунистической партии. В жизни все не так просто. Жизнь полна противоречий. Наглядным примером этого являются те американские юноши, которые добровольцами пошли в Испанию сражаться против фашистского мракобесия. Многие из них вышли из беднейших районов Нью-Йорка и Чикаго, — и на фронтах испанской войны эти юноши зачастую учились умирать, еще не научившись сражаться. Так было, например, в Харамской долине, где они выпшли в бой почти без всякой военной подготовки. Эти юноши были олицетворением самого лучшего, что создало наше время. Они олицетворяли лучшее, что есть в человеке. И у них не было ничего от того чудовищного, чем является партия.

Мне хочется особенно сильно подчеркнуть это обстоятельство и сделать его отчетливым и понятным.

Разрешите привести другой пример в подтверждение этой мысли. Я не знаю, был ли когда-нибудь опубликован в американской печати документированный рассказ о трех тысячах польских коммунистов, казненных советской тайной полицией по приказу Сталина и его окружения. Эту историю мне рассказывали несколько поляков и в правдо-

подобности ее нельзя сомневаться, ибо это были люди, внушавшие полное доверие благодаря их репутации и их прошлому. Каждый из них особенно подчеркивал тот факт, что убитые были «цветом польского национального движения» и принадлежали «к наилучшим и нахрабрейшим». Итак мы видим, что партийные палачи истребляют «наилучших и нахрабрейших» в рядах партии. Это парадоксально, но это — факт. И кому бы и чему бы вне себя самой не угрожала партия, как бы не были разрушительны или созидательны ее действия в отношении внешнего мира, характерным является то, что она занимается самопожиранием и саморазрушением — путем ли убийств, путем ли страха или умственной кастрации. Когда партия впитывает в себя что-нибудь светлое и чистое, она его перерабатывает в темное и грязное. Посвятив себя служению разуму, партия становится его смертельным врагом; посвятив себя прогрессу, она неизменно ведет к задержке нормального роста.

В основе марксизма лежит положение, что в этом мире нет ничего постоянного и ничего вечного, за исключением самого факта изменений. Основываясь на этом принципе, я полагаю, что долг коммунистов перед человечеством заключается в разрушении мифологической легенды, создавшей вокруг партии, и в уничтожении капищ и жрецов, творящих в них магический ритуал. Это является долгом и обязанностью коммунистов — не перед партией, конечно, а перед человечеством. Одновременно с этим обязанностью некоммунистов должно быть понимание того исторического процесса, который привел к созданию и развитию коммунистической партии.

Нет силы на земле, которая была бы в состоянии уничтожить коммунистическую партию, но под воздействием правды партия исчезнет, как соль растворяется в воде. Время партии прошло. Русский народ и китайский народ находятся на такой степени развития и добились таких достижений, о каких нельзя было и мечтать в первые десятилетия нашего столетия, — даже принимая во внимание, что и весь мир стоит на пороге такой эпохи, когда, быть может, человечество и цивилизация смогут навсегда покончить с войной и нуждой. Только безумец может полагать, что клика сумасшедших, по собственному свидетельству Хрущева, почти проигравших войну с Германией, является движущей силой в строительстве русской цивилизации. Нет такой области творчества, которую советский народ, его рабочие, инженеры, ученые, учителя и художники не могли бы понять и осилить. Освободившись от паразитического слоя, каким является коммунистическая партия, и установив у себя демократическое управление на основе собственной социальной базы, они в самом скором времени дадут своей стране благоденствие и достаток.

Нам нужно это осознать. В любой стране будущее коммунистической партии будет решено народом этой страны. Это относится как к России, так и ко всем другим странам. Только тогда коммунистическая партия может быть уничтожена, только тогда ее монолитная структура может быть разрушена и только тогда ее мистически-религиозный дух и влияние могут утратить свою силу, — когда достаточное число членов партии поймет и осознает, что она собой представляет и как она функционирует.

Чтобы это сделать, нужно победить в себе чувство страха, так как страх перед мистическим, безымянным и безличным божеством, олицетворяющим собой партию, является основным и наиболее важным в структуре и в жизни партии. Даже здесь, в Соединенных Штатах, мы не свободны от этого страха. Находясь под влиянием наших «профессиональных патриотов», мы в своем воображении превратили коммунистическую партию в непобедимое и страшное чудовище и склонны упускать из вида всю непорочность базы, на которой зиждется сила и влияние мистически-магического ритуала партии.

И все же сила партии является и ее слабостью. Никакая организация, основанная на псевдорелигиозном лицемерии, сцементированная страхом и показной ритуальной магией, подменяющей разум, не может существовать во второй половине XX столетия. Только государства Запада могут помочь коммунистической партии остаться в живых.

Это может произойти в том случае, если западные народы поддадутся чувству военного психоза, который разрешится мировой войной. Не нужно упускать из вида, что для Хрущева война представляет собой одну из немногих возможностей для объединения под партийным началом различных элементов страны, в настоящее время находящихся в оппозиции к нему и его политике. В том разрушительном урагане, который создаст война, фанатизм, заложенный в партийную структуру, поможет диктатуре сохранить свой строй и партии пережить ужасы войны.

Да спасет нас Бог от такой возможности! Мы переживаем сейчас один из исторических моментов, когда интенсивное развитие социальной эволюции уже готово выкристаллизоваться в новые формы и в новые направления. Нам нужна глубокая и неостывающая вера в то, что близко нам, человеческим созданиям, и нужно иметь терпение. На скрижалях истории, видимо, уже запечатлен конец коммунистической партии и, возможно, близок рассвет социалистической демократии и гуманизма; но только народы стран, управляемых коммунистической партией, могут разрешить этот вопрос.

Мы должны сделать выбор между действиями разумными и действиями разрушительными. Если мы будем действовать мудро, с новой терпимостью, с новым пониманием и, особенно, с новым старанием доказать свою добрую волю по отношению к народам Востока, тогда станет вполне вероятным, что мы будем свидетелями мирного сотрудничества демократического социализма и демократического капитализма, сотрудничества в построении лучшего мира для наших детей.

В отличие от других моих произведений, эта книга характерна тем, что отражает меняющиеся и нарастающие настроения, — настроения, которые сопутствуют творческому процессу. Эта книга отражает не статический момент, а момент динамического развития — как в моей личной жизни, так и в истории, что неразрывно связано одно с другим. Началом книги была статья в журнале; и прежде, чем статья была опубликована, ее уже цитировали, о ней говорили, ее критиковали. Эта статья привела к тому, что я поссорился со многими людьми, раньше принадлежавшими к моему кругу. И вот книга явилась результатом того ожесточенного конфликта с самим собой и с окружающим миром, который я пережил и которому сопутствовали страдания, каких до тех пор я не испытывал в моей литературной работе.

Об этой книге ходили разнообразные и разноречивые слухи задолго до ее написания. Когда я начал ее, исходя из предположения, что мое имя в Советском Союзе предано забвению и ни в живых, ни в мертвых, я там не считаюсь, — мои советские читатели еще не знали о моем разрыве с коммунистической партией. До того, как книга была окончена, один молодой американский студент сотням советских людей рассказал о том, что произошло. Слухи об этом распространились с быстротой молнии, заставив советских заправил подвергнуть меня ожесточенным нападкам в «Литературной Газете» (советское издание, отражающее партийную линию).

Сейчас, когда я пишу последние строчки о том, что мне хочется изложить в этой книге, до меня дошли сведения, правда еще не проверенные, что Илья Эренбург тоже восстал против коммунистического засилья и партийной литературы. Действительно ли это так? — спрашиваю я себя. Может ли быть, чтобы Эренбург, который боялся поднять голос в защиту своих со товарищей по профессии и таких же, как он сам, евреев, — может ли быть, что теперь он нашел храбрость и мужество для подобного заявления? Таким образом, пока я пишу рассказ об ужасах, кошмарах и страхе, чередующихся с проявлениями доблести и благородства, жизнь выдвигает новые аналогичные примеры, хотя они и не дают ответа на целый ряд вопросов.

Для человека, не состоявшего в партии, может быть интересен вопрос: так же ли легко выйти из партии, как в нее вступить? Но кто может дать объяснение тому странному и сложному процессу, через который должен пройти человек, вступивший в партию, и от которого, повидимому, даже Эренбург не мог избавиться.

Десять лет назад, в 1947 году, я спросил двух своих друзей, имевших

значительно больший партийный стаж, чем я: — «Что нужно сделать, чтобы оставаться в этом движении? Что для этого требуется?»

Они не могли мне дать исчерпывающего ответа. Однако, все мы трое оставались в партии в течение многих лет. Вот что тогда со мной произошло. Это было во время расследования деятельности коммунистической партии, которое производилось Конгрессом в Вашингтоне. Один из моих друзей возглавлял контору газеты «Дэйли Воркер» в этом городе. Другой был редактором газеты. Меня от «Дэйли Воркер» послали в Вашингтон как корреспондента, который должен был давать отчеты о заседаниях того комитета, в котором производилось расследование так называемой «антиамериканской деятельности».

В одном из заседаний этого комитета в качестве добровольного свидетеля принял участие Юджин Деннис, генеральный секретарь партии. Он не был вызван судом, он сам предложил дать показания, рассчитывая произвести впечатление своей откровенностью. Но откровенность Деннису никогда не давалась легко и его свидетельские показания кончились на первом же вопросе. На вопрос, как его зовут — он ответил: «Джин Деннис». Допрашивающий член Конгресса спросил, не был ли он известен раньше под другим именем. На это Деннис ответил, что, по американским законам, его теперешнее имя «Деннис» является легальным и поэтому он не обязан отвечать на такого рода вопросы. На этой почве возник оживленный спор и Деннису было заявлено, что комитет в его показаниях больше не нуждается. Когда он выходил, присутствовавшие корреспонденты забросали его вопросами.

Фактически Деннис удачно использовал тот факт, что он жил и работал под этим именем. Он сумел этим создать хорошее впечатление. Мне удалось сказать ему, что, по моему мнению, присутствовавшие в зале репортеры и корреспонденты были на его стороне. Но, судя по его удивленному выражению и по тому, как он реагировал на мои слова, было ясно, что Деннис не понял ни меня, ни настроения в зале. Он был не слишком тонким человеком и представление, что корреспонденты вовсе не были его кровными врагами везде, всегда и всюду, не укладывалось в его сознании.

Помощник Денниса и представитель по делам прессы Джон Гейтс сообщил корреспондентам, что генеральный секретарь партии будет с ними разговаривать через час, в своем отеле. Гейтс заявил, что на прессконференции Деннис сделает сообщение государственного значения. Я не уверен, что Гейтс знал — какого рода будет это сообщение. Никто из нас троих не был посвящен в дело. Деннис был не из тех, кто держит себя с товарищами по партии, как с равными.

На прессконференции присутствовала целая толпа Вашингтонских корреспондентов. Я хочу передать только смысл происшедшего, — и так как мой рассказ несомненно будет опровергаться, очень удачным является тот факт, что вся прессконференция была стенографически записана корреспондентом нью-йоркской газеты «Херальд Трибун», Бергом Эндрьюсом. Этот стенографический отчет был опубликован в газете на следующий день. И всякий, кого интересует это совершенно невероятное происшествие, может ознакомиться с подлинником.

После ряда общих мест, высказанных Деннисом, корреспонденты стали требовать обещанной сенсации — сообщения государственной

важности. Тогда Деннис высокопарно заявил, что некоторое время тому назад он провел несколько лет в Китае.

Изумлению и разочарованию репортеров не было границ. Они сказали Деннису, что их очень мало интересует, был или не был он в Китае, и что они пришли сюда, чтобы услышать от него заявление государственной важности. Деннис настаивал, что его пребывание в Китае в свое время имело значение государственной важности; когда репортеры ему возразили, что их представление о вопросах государственной важности, очевидно, не соответствуют его представлению, то Деннис стал защищаться и его поведение сделалось оскорбительным. Кто-то, кажется Берт Эндрьюс, спросил Денниса — кто именно послал его в Китай, — надеясь этим вопросом смягчить создавшееся положение. Деннис ответил, что он был послан в Китай американским народом.

Эта невероятная чушь была встречена всеобщим молчаливым возмущением. Кто-то сказал: «Вы это говорите не серьезно. Неправда ли, господин Деннис?» Берт Эндрьюс хотел уточнить, как именно американский народ уполномочивал Денниса на эту миссию: был он в Китае в качестве дипломата, в результате выборов или каких-либо других обстоятельств, которые можно было бы рассматривать как представительство от американского народа. Тогда Деннис обратил на Эндрьюса свой гнев и начал его поносить, как «наемника продажной прессы». После этого возмущенные журналисты демонстративно покинули комнату, где происходила конференция оставив нас, трех представителей газеты «Дэйли Воркер», выслушивать до конца разглагольствования и разоблачения Денниса. Но для нас одних Деннис не считал нужным продолжать своего выступления и — мы тоже поднялись и вышли. Оставаться дольше было мучительно.

Все мы были сильно расстроены и подавлены разыгравшейся невероятной сценой. Как члены партии, мы должны были нести ответственность за нашего национального вождя. Наша психика нормальных людей была настолько потрясена, что мы не могли даже поделиться друг с другом своими мыслями.

Я прекрасно помню, как печально и медленно шли мы по улицам Вашингтона. И вот именно тут я и задал моим более опытным в партийной жизни товарищам тот вопрос, о котором я упоминал в начале этого мало приятного рассказа. Они не могли мне ответить. Я хотел знать — каково мое положение в партии, сближаюсь я с нею или, наоборот, отдаляюсь от нее. Меня одолевало раздумье и я спросил моих товарищей, почти что отвлеченно, почти что риторически:

«Что делать, если человек, стоящий во главе движения, к которому вы примкнули, оказывается идиотом или сумасшедшим?»

В кругах коммунистической партии слухи и рассказы об этой истории ходили в течение многих лет, и тем не менее говорить об этом в печати — представляется ужасным, я это ясно понимаю. Не так легко объяснить тот ужас, который в течение ряда лет испытывали многие из нас, и как этот ужас на нас отражался. Вы не можете передать, что происходит в извилинах вашего мозга. Все это исключительно сложно, — и в результате у вас развивается способность рассуждать совершенно невероятным образом. Вы смотрите на ваших вождей с презрением и негодованием, но вы говорите себе: «Они — еще не партия; партию

представляем мы. Партия — это мы». Протест против партийных вождей считается в партии страшным преступлением и служит поводом к исключению из нее. Такова была мудрая предпосылка, которую установили люди, создавшие структуру партии. «Когда придет время, то появятся другие вожди», — сказал мне в эту ночь мой вашингтонский друг. — «Придут другие времена, которые потребуют героических вождей, а до того времени мы должны мириться с вождями, которых имеем.»

Кто может сказать, о чем мы думали? Не так легко признаться даже самим себе, что мы хотели уйти, вырваться из этого кошмара. Трудность заключалась в том, что, стараясь избавиться от кошмара, вы в то же время раз и навсегда прощаетесь с надеждами на всеобщее избавление. С этим нелегко было примириться. Не является ли вступление в партию и началом конца? Как часто это случается? Какое впечатление произвел секретный доклад Хрущева на венгров — коммунистов и некоммунистов, какую реакцию он у них вызвал? Что произойдет в Советском Союзе, если «Правда» опубликует полный текст этого доклада?

Я вспоминаю, как однажды я подготавливал брошюру. Она была иллюстрирована лучшими современными художниками, которых я убедил принять участие в деле. Один из них, очень большой художник, нарисовал группу рабочих. Все рабочие на рисунке были белыми. И вот после того, как брошюра была отпечатана и пятьдесят тысяч экземпляров были полностью готовы, член партийного секретариата Бэтти Ганнэт решила что, поскольку платье у одной из женщин на рисунке было задрано выше колен — это являлось оскорблением для негров. . . Мы убеждали ее, что женщина на рисунке — белая женщина, и что платье иногда случайно задирается выше колен. Но Бэтти Ганнэт визгливо возмущалась и заявляла, что одна только возможность принять женщину на рисунке за негритянку нанесет оскорбление всему рабочему классу Америки. . . Таким образом, пропало пять тысяч долларов, затраченных на брошюру. Пять тысяч сбережений, собранных бедными для поддержки партии.

Я знал, что это было безумием, ужасающим психозом, — и это знали другие коммунисты, имевшие отношение к данному случаю. Теперь поймите, какое впечатление это произвело на нас, на наши души. Я утверждаю, что нечто подобное в течение многих лет переживалось всеми честными рядовыми членами партии во всем мире. Я думаю, что с первого же дня нашего вступления в партию, у всех нас начало расти чувство ужаса, боли и возмущения. Наше освобождение от партии продвигалось медленно, и в этом заключалось наше страдание. Мне кажется, мир должен радоваться тому, что в будущем это освобождение будет проходить ускоренным темпом. Больной и немощный бог был голым с самого начала, — нужно было лишь указать на этот факт.

Я думаю, никто из читателей не может представить себе, чтобы то, что он прочитал в этой книге, могло быть мною написано без колебаний и сомнений. . . Мои друзья, которые остались и до сих пор остаются в партии, готовы простить мне все, что я сказал, лишь бы только мои мысли не сделались публичным достоянием. Одно то обстоятельство, что XX съезд КПСС имел место и что Хрущев выступил на нем с секретным докладом, по их мнению, уже само по себе является предвестником перемен.

Целый год после XX съезда, с февраля 1956 года по февраль 1957 года, я ждал молча, не делая никаких публичных заявлений об изменении моего отношения к коммунистической партии. В течение этого времени я наблюдал восхождение Никиты Хрущева к власти в Кремле, как вождя нового типа. Даже Сталин, при всей его хладнокровной жестокости, не демонстрировал публично, говоря дипломатическим языком, таких невоспитанности, пьянства и дикого бахвальства, как Хрущев. Это было ново для партии, хотя и страшно знакомо в исторической перспективе, — тип вождя коммунистической партии Советского Союза, вождя преисполненного бахвальства, фанфаронства и, вместе с тем, ненавидящего евреев и травящего их.

Однако, в других отношениях Хрущев продолжает оставаться верным традициям Сталина, — т. е. он представляет собой источник мудрости и неисчерпаемый клад знаний, — которые присвоил себе вместе с мантией партийного вождя. Его появление, как вождя нового типа, обусловлено необходимостью взять в свои руки контроль над «революцией писателей», имевшей место в Советском Союзе после XX съезда. И последние заявления Хрущева об искусстве и контроле над ним в коммунистическом государстве — оказались нужными для того, чтобы уничтожить мои последние сомнения в отношении партии.

После хрущевских разоблачений в секретном докладе, в то время как Фадеев, тогдашний глава Союза советских писателей, покончил жизнь самоубийством, многие писатели предались той опьяняющей пляске освобождения, которой отдали дань и мы, сотрудники газеты «Дэйли Воркер». Хоть и ненадолго, и только раз, но они вкусили от опьяняющего напитка свободы и начали писать в соответствующем духе. Я уже упомянул о книге «Не хлебом единым». Самый факт появления этой книги заставил меня и многих других задуматься, не знаменует ли он значительных перемен на литературном поприще в Советском Союзе. Однако, нападки на автора советских литературных критиков оказались власти недостаточными, и сам глава партии принял в них участие, сказав об авторе:

«... В его книжке «Не хлебом единым», которую сейчас пытаются использовать против нас реакционные силы за рубежом, предвзято надерганы отрицательные факты и тенденциозно освещены с недружественных нам позиций. В книге Дудинцева есть и правильные, сильно написанные страницы, но общее направление книги неверно в своей основе. У читателя создается впечатление, что автор этой книги не проникнут заботой об устранении увиденных им недостатков в нашей жизни, он умышленно сгущает краски, злорадствует по поводу недостатков. Такой подход к изображению действительности в произведениях литературы и искусства есть не что иное, как стремление показать ее в извращенном виде, в кривом зеркале».

Смысл и значение такого заявления далеко превосходит смысл тех заезженных и надоевших формул, которыми тысячи коммунистических вождей пользуются для того, чтобы сказать по существу то же самое на своем бедном языке. Фактически Хрущев говорит: «Мы больше не потерпим подобных книг».

В этом, по существу, и заключается трагедия. Многие говорили мне с большим раздражением: «Предположим, что вы, как писатель, должны отказаться от некоторых ваших драгоценных свобод. Предположим, что вы должны даже отказаться от того, что вы называете великой литературой. Разве это не очень маленькая жертва в свете мощного движения всего человечества вперед, к социализму?»

Такой ход мысли является самой опасной софистикой, потому что он не только ставит «телегу впереди лошади», а вообще все переворачивает вверх дном. Еще не существующая цель — цель с точки зрения тех, кому дорог социализм — используется в данном случае для того, чтобы оправдать наиболее тиранические методы и средства для ее достижения. И впервые за все существование человечества ему представляется зрелище, когда громадные массы обыкновенных людей принимают на себя обязательство ограничить свою личную свободу. Адольф Гитлер тоже прибегал к помощи лжи и умел ценить значение лжи, доведенной до колоссальных размеров. В том же самом обращении к писателям, которое приведено выше, Никита Хрущев сказал: «Сила советского социалистического общества в единении коммунистической партии и народа».

Многие примут это заявление с подозрением и сомнением, но только тот, кто провел в коммунистическом движении годы своей сознательной жизни, способен полностью понять, насколько оно невозможно и невероятно! Коммунистическая партия и народ — совсем не одно и то же, и миллионы коммунистов знают, что Хрущев лжет. Мне кажется, я доказал на основании представленного здесь материала, что сама партия не является однородным телом, что она находится в состоянии непримиримых конфликтов между рядовой партийной массой и руководством. При таком положении устойчивость может поддерживаться лишь кровавым подавлением всякого несогласия. Насколько же более ужасны и невыносимы должны быть противоречия между коммунистической партией и народом — в тех странах, где она стоит у власти! Как бесстыдно, абсолютно бесстыдно вышеприведенное заявление Хрущева!

Что касается отношения Хрущева к писателям, определяющего и официальное коммунистическое отношение к ним, то оно в недвусмы-

сленных выражениях сформулировано в том же недавнем обращении к писателям Советского Союза.

«К сожалению, среди работников литературы и искусства встречаются такие люди, поборники «свободы творчества», которые хотят, чтобы мы... не критиковали подобные произведения, которые в извращенном виде рисуют жизнь советского общества. Этим людям, оказывается, тяготит руководство литературой и искусством со стороны партии и государства. Они выступают против этого руководства иногда прямо, а чаще всего прикрывают эти свои настроения и желания разговорами об излишней опеке, о сковывании инициативы и т. п. Мы открыто заявляем, что такие взгляды противоречат ленинским принципам отношения партии и государства к вопросам литературы и искусства».

Вот такого рода официальное заявление последовало через полтора года после секретного доклада Хрущева и вот как выглядит свобода, дарованная в Советском Союзе его писателям.

Как мало что изменилось! В 1954 году советские представители пылко уверяли меня, что никогда больше не будет такого положения, чтобы один человек управлял их страной, но мы видим возвращение к единоличной власти одного человека. Весь мир наблюдал за его жестоким — и совершенно в сталинском стиле — восхождением к власти. Считаюсь с общественным мнением, он, поскольку нам известно, воздерживается от беззастенчивого истребления своих побежденных товарищей, что было принято при Сталине. Вместо этого он позволяет себе в отношении побежденных публичное проявление уродливого чувства юмора, если вообще такого рода вещи можно назвать юмором.

Такие известные всему миру персонажи, как Молотов, Маленков и Шепилов отправляются в позорную ссылку. Подобным образом поступали римские императоры в отношении своих дворцовых врагов, посылая их на окраины империи. В это же время самодовольно сияющий и словоохотливый Хрущев перед всем миром демонстрирует себя и свою победу, как символ общечеловеческих упований.

Я хотел бы знать, как чувствуют себя сегодня все эти писаки из «Правды», говорившие о Шепилове, который был редактором «Правды», с такой любовью и восхищением... Однако, в том мире, в котором они находятся, переживания не могут стать известными. Они получили приказ взяться за перья и писать оды русскому народу.

Я хотел бы знать, какие написали бы они оды, если бы руки палача были связаны... Я знаю ряд русских писателей — многих лично, еще больше по переписке. Я знал их, как человеческие личности, как людей с душевным теплом и достоинством, и я согласен с Хрущевым, что такие люди опасны. Но он, видимо, не знает — насколько они опасны в действительности. В основе мышления господина Хрущева лежит его плохое знание людей. Палач не может интересоваться народом и народными нуждами, — это не соответствует самой природе его профессии. Тем не менее, палачи научаются страху перед народом.

Был американский поэт, который сказал: «Бог правду видит, да не скоро скажет».

Но, как я уже сказал раньше, это предостережение относится также и к нам. Опасно слушать все голоса, но еще опаснее заглушать один

единственный голос. Какую цену заплатило человечество за то, чтобы познать эту истину!

Даже в наш век соглашательства вряд ли можно считать эту цену приемлемой и вряд ли мы можем смотреть на это самодовольно и равнодушно. Не нужно забывать, что писатель — это не просто неприятное явление, нечто вроде комаров в болотах Норд Джерси, существующих с единственной целью надоедать, докучать и раздражать. Вместе с тем, писатель не является также и человеком, задача которого состоит в призвании развлекать людей, создавая сказки и фантастические картины. Он является частью, совершенно необходимой частью очень странной и волнующей логики вещей, связанных с социалистическим развитием. Его, быть может, наибольшая задача и наибольшее значение заключаются в его роли критика и обличителя, — и в этой роли он сделал, быть может, наибольший вклад в дело развития цивилизации.

От кого бы не исходили веления и директивы, устанавливающие соглашательство, они по самому своему существу реакционны и отвратительны. В том совете, который Хрущев дает русским писателям, заключаются не только потрясающая вульгарность, мелодраматичная сентиментальность и опасная нелепость, с точки зрения литературных ограничений, — в этом совете наиболее вредным и разрушительным является то, что он связан с полным извращением мышления. И вот именно это извращенное мышление — есть тот опыт, который писатель выносит из своего знакомства с коммунистическим движением. Прочтенное вами в этой книге является частью моего собственного опыта, приведшего меня к решению выйти из коммунистической партии. На основании этого опыта я написал некоторым друзьям в Советском Союзе и прямо сказал им о решении, к которому пришел.

Эти друзья были писателями, дружба которых была приобретена путем переписки в течение многих лет. Эта переписка давала основания предполагать, что мои русские друзья разделяли со мной те принципы и ту глубокую убежденность, которые составляли основу моих мыслей и действий и которые заключались в чувстве равенства и уважения к человеку вообще, далеко выходя за рамки партийных взаимоотношений. В высокой степени такого рода отношение было у меня к Борису Полевому, несмотря даже на странные и необъяснимые измышления его о советском писателе Квитко, о котором я говорил раньше. Эти измышления напоминали мне аналогичные вымыслы Фадеева. В своем письме к Полевому я задал вопрос — основываются ли наши взаимоотношения на том, что мы оба заинтересованы в проблемах нашего времени и придаем им глубокое значение.

Особенно важно было сделать попытку разрешить этот вопрос именно через Полевого, потому что он, как глава Союза советских писателей, должен был, так сказать, задавать политический и моральный тон; я подошел к нему не только как друг и писатель, который был коммунистом и перестал им быть. В то же время я написал Борису Исакову, главе иностранного комитета Союза советских писателей и, возможно — с ненужным вызовом, выразил надежду, что страх не помешает ему ответить на это письмо. В письме ко мне, приводимом ниже, Борис Полевой ссылается на этот пункт. Я привожу письмо полностью, потому что чувствую, что оно показывает всю сложность проблем, которых я

касаюсь в этой книге. Это письмо было получено мною в марте 1957 года, если не ошибаюсь, 25-го числа. Я ответил в тот же день. Это было через семь недель после того, как я написал Полевому, извещая его о моем уходе из партии. В его письме говорится:

«Дорогой Говард! Как Вы видите, я пишу Вам, и пишу без малейшей тени того страха, о котором Вы намекнули в Вашем письме к нашему общему другу Исакову. Между прочим, он не заслужил того, чтобы Вы обижали его таким образом. Вы слишком большой художник, чтобы не понимать, что не стоит брать такой тон с друзьями.

Я сознаюсь, что был глубоко огорчен, узнав о Вашем решении. Мы встретились только один раз, но мы долго переписывались, и я всегда с нетерпением ждал Ваших писем. Из этих писем — и, конечно, также из Ваших книг, — я создал себе представление о человеке, который всю свою жизнь плыл против течения и пожертвовал многим во имя возвышенной цели. И в наших литературных дискуссиях я часто указывал на Вас, как на вдохновляющий пример подлинного мужества и стойких убеждений.

Естественно, что последнее известие о Вас явилось для меня большим ударом. Тем более, что я узнал об этом не из Вашего дружеского письма и не от одного из тех маленьких, но смелых изданий, с которыми Вы были связаны столько лет. Я прочитал об этом в органе большой, богатой и шумливой прессы и, больше того, в интервью, данном человеку, которого я не могу уважать как журналиста. Поэтому эта новость была для меня особенно горькой.

Я — старый солдат, и у меня нервы достаточно крепки. Но в ту ночь я не мог заснуть. Я все время думал о Ваших книгах. Их герои окружили меня, и вместе с ними, как это бывало, я пересмотрел все совершившееся. Я определенно чувствовал, что Гедеон Джаксон, храбро сражавшийся до самого конца, был бы поражен случившимся не меньше, чем я.

Не меньше огорчен был бы и Спартак, хотя он и жил в то время, когда не было ни философских теорий, ни практического опыта, освещающих теперь путь человечества, когда не было ни культурных ценностей сегодняшнего дня, ни прогрессивной интеллигенции, высоко несущей знамя мира при всех обстоятельствах. Вы, конечно, знаете Вашего Спартака лучше, чем я, но я совершенно уверен, что если бы он был со мной в эту ночь, он был бы разочарован и смущен не менее меня. Или Джордж Вашингтон, человек, которого я так почитал в детстве и которого я вновь обрел в Вашей книге. В подобных обстоятельствах он наверное сказал бы: «Как бы ни был тяжел бой, я должен устоять сегодня, чтобы победить завтра». Что же касается Силаса Тимбермана, логика говорит мне, что хотя бы он и нашел положение дел столь же трудным, как это показалось Вам, но несмотря на это, он категорически возражал бы против Вашего решения.

Говорят, что писатель частично воплощает в своих героях самого себя. Поэтому Ваши герои, которых полюбили миллионы, при всей их выдержке и стойкости, были бы крайне смущены, если бы они могли услышать загробный голос того хорошо известного радиодиктора, который был услышан в России и который говорил якобы от Вашего име-

ни. Между прочим, мне ясно, для чего это делается. Они стараются уничтожить популярность Вашей книги среди 900 миллионов читателей, а вместе с этим и Вашу личную популярность. Однако, Вашим друзьям хорошо известны беспринципные нападки «Голоса Америки», и чего они стоят. Мы не верим, чтобы Вы, желая оправдать свои действия — что само по себе является Вашим личным делом, — могли бы, как это утверждает «Голос», отрицать в столь резких выражениях все то, за что Вы боролись и что Вы защищали в своих книгах, в публичных выступлениях и письмах еще только вчера, и могли бы открещиваться от этого.

Недавно был здесь Веркор, председатель Национального комитета французских писателей. Вы его, конечно, знаете, хотя бы по его книгам и статьям. Он был видным участником французского сопротивления, он очень одаренный художник с политическими взглядами, весьма далекими от коммунизма. Он был у меня в гостях, и мы провели в разговорах весь вечер и большую часть ночи. Во время этого разговора мы выпили несколько кофейников. Юлия в конце концов сдалась и ушла спать, а мы все еще оживленно беседовали. Естественно, что мы не пришли к соглашению по многим пунктам, но мы остались друзьями, потому что мы оба чувствовали, что самая главная вещь сейчас — это укрепление связей между писателями Востока и Запада. Мы понимали, что это не может быть достигнуто игрой слов и взаимными обвинениями, которые вызывают головную боль у участников и злорадство у посторонних, а может быть достигнуто только хладнокровным и объективным обменом мнений. И, конечно, мы нашли общий язык по основному вопросу. Мир — одинаково важен и необходим Востоку и Западу, правым и левым, католикам, как Веркор, и атеистам, как я.

Я вспомнил это посещение Веркора, мой дорогой Говард, потому что я хочу сказать следующее. Многие из моих друзей писателей — не коммунисты, некоторые даже принадлежат к партиям, которые я считаю реакционными. Различные взгляды на жизнь, различные мысли о будущем, однако, не мешают нам переписываться, посещать друг друга и обмениваться взглядами на жизнь и на литературу. Но между этими моими друзьями нет никого, кто бы подлил масло в огонь холодной войны.

Я знаю, что Вы поймете и разделите мои чувства в этом вопросе. Я вспоминаю, с какой любовью и гордостью Вы говорили о Ваших соотечественниках во время наших встреч, как Вы были возмущены журналистами, которые бессмысленно и безосновательно порочат все то, что священно для вашего народа, преуменьшают народные достижения и оскорбляют национальную гордость и флаг со звездами и полосами. Я полностью разделял Ваши чувства и упомянул о них в своем «Американском дневнике». Со своей стороны я приложил все старания, чтобы никоим образом не обидеть американского читателя скороспелым суждением или поверхностными мнениями. Между прочим, я послал Вам довольно давно один экземпляр этой книги, и если Вы захотите, Вы сможете сами вынести о ней суждение. Я думаю, Говард, что поэтому я вправе рассчитывать на такое же отношение и с Вашей стороны.

Что касается Ваших книг, то все попытки «Голоса» повредить им не повели ни к чему. Наши журналы и книжные издательства продолжа-

ют распространять их среди читателей, как взрослых, так и детей. В частности, «Лолла Грегг», которая, как я Вам писал в моем письме от 15 февраля, вероятно уже полученном Вами, только что появилась по-русски и начинает покорять сердца читателей.

Вот, дорогой Говард, каково сейчас положение дел. Я буду попрежнему с нетерпением ждать Ваших писем, потому что я твердо верю, что мы оба, — да, мы оба, я уверен в этом, — имели много общего и связаны общим делом благородной борьбы за мир и прогресс. Да, я уверен, именно в этом — в нашей общей, совместной работе.

Мы оба семейные люди. У Вас двое детей, у меня — трое. И скажете, не думаете ли вы, что это обстоятельство само по себе является вполне достаточной общей платформой для совместной работы за мир, — за мир для них. Эх, старина, как хорошо было бы нам встретиться за рюмкой водки или виски — все равно чего, — и потом, по старому интеллигентскому обычаю, говорить и спорить до поздней ночи, не обращая внимания на зевки и злые взгляды жены. Но меня не пустят в США, а Вас не выпустят оттуда.

Но я, действительно, на этот раз перескакиваю с мысли на мысль. Мне лучше остановиться, прежде чем это письмо не станет слишком тяжелым для авиопочты. Самый сердечный привет дорогой Бэтти от меня и от Юлии.

В их отношениях, по крайней мере, не произошло никаких перемен, хотя они никогда не встречались. Но жены всегда мудрее мужей.

Сердечно Ваш,

Борис Полевой.

18 марта 1957 года.

П. С. Я думал протелеграфировать Вам одновременно с этим письмом, так как, повидимому, почта стала работать медленно, и мое письмо, отправленное в середине февраля, очевидно, еще до Вас не дошло».

Таков был ответ Полевого на ряд глубоко важных вопросов, которые я ему задал. В тот же день, когда я получил письмо, я ему ответил:

«Дорогой Борис!

Было приятно получить от Вас весточку, верьте мне. Ваше письмо пришло сегодня, и я его с жадностью прочел. Меня охватило чувство теплоты и радости, которое мне дают Ваши письма. Я был так рад снова услышать Ваш голос. Вы и Исаков для меня и для Бэтти — драгоценные друзья, что должно так и остаться.

Но если бы Вы в Вашем письме ответили на некоторые мои вопросы! То, что «Голос Америки» сделал капитал на моем поступке, не имеет никакого значения. Я уверяю Вас, что они сделали гораздо больший капитал на хрущевском «секретном докладе» — и никто не может заставить замолчать критику под предлогом, что она будет использована «Голосом Америки».

Я поднял вопросы исключительной важности, вопросы, от которых, можно сказать, зависит жизнь или смерть — разве на них нет ответа? Ведь мы не дети и не безумцы, — зачем же нужно, чтобы наши настойчивые просьбы об объяснении некоторых вещей всегда вызывали

в ответ только риторику? Разве можно причинить больше вреда, чем уже сделано, разъярением — почему Вашим правительством были казнены еврейские писатели, почему Булганин в иностранной политике использует антисемитизм, почему появилась позорная теория антисемитизма, почему она проводится в Вашей стране под глупейшим названием «космополитизма»?

Разве Ваше правительство или Вы сами не можете дать нам более разумного объяснения той исключительной оргии убийств, которая происходила во времена Сталина, чем нелепость, которую мы слышим от Вас и которую Вы называете «культом личности». Нам говорят, что Берия был против Сталина, протестовал против сталинских безумств и был убит Хрущевым и другими потому, что имел в своем распоряжении факты их преступлений. Почему эти слухи не опровергаются? Где протокол судебного процесса над Берией?

Почему мы не слышим Вашего голоса, голоса Исакова и других в защиту книги «Не хлебом единым»? Возможно, что книга не представляет никакой ценности, но разве не надо защищать писателя? Почему никто не хочет сказать нам, как умер Исаак Фефер? Поляки сообщили, что Хрущев пытался использовать антисемитизм, чтобы повлиять на внутреннюю борьбу в Польше. Почему никто не опровергает этого? Где то слово хотя бы малейшей критики и самокритики, о котором мы так много слышали?

Почему «Правда» пыталась повлиять на внутреннюю борьбу здесь, поддерживая Фостера и его окружение? Люди эти имеют мало достоинств. Это — люди, которые не считаются с реальным положением в нашей стране. Лучшие, самые лучшие в нашей партии восстали против них.

А что касается Ваших собственных писем, Борис? Почему Вы должны прибегать к таким неуклюжим уловкам, как «почта стала работать медленнее»? В течение последнего года редко проходил день, чтобы я не получал одного-двух писем из Советского Союза. Мне писали самые разные люди — учащиеся, педагоги, издатели, работники театра и, конечно, Вы и Ваши коллеги. Как могло случиться, что через три дня после сообщения в «Нью-Йорк Таймс» о моем выходе из партии — вся моя почта из Советского Союза сразу прекратилась?

Вы знаете так же хорошо, как и я, что о моем уходе в советской печати не было упомянуто ни слова. И все-таки, ни одного письма я не получил. Совершенно ясно, что все письма были задержаны в почтамте — так же, как и Ваше предыдущее письмо было задержано там же. Является это свободой и есть ли в этом хотя бы здравый смысл? О всем том, что Вы говорили о Соединенных Штатах, я годами писал в Советский Союз — и также получал почту оттуда, и ни одного письма не было задержано, что бы я не говорил и не делал.

Чем это можно объяснить и оправдать? Разве нельзя открытым и честным образом оставить коммунистическую партию и так же открыто и честно критиковать советских вождей и руководителей — без того, чтобы быть причисленным к отщепенцам рода человеческого?

В Вашем собственном письме Вы говорите, что все еще считаете меня своим другом, несмотря на мой поступок, намекая на то, что я сделал что-то ужасное и бесчестное.

Но разве следовать велениям своей совести должно считаться бесчестным поступком? В мире существуют миллионы хороших и честных людей, которые чувствуют то же самое, что я, и которые задают те же вопросы, как и я. Думаете ли Вы убедить их доводами того порядка, к которым прибегли в Вашем письме? Вы говорите о Веркоре, которого я также уважаю. Но Веркор не был коммунистом: он не жертвовал своей жизнью и своей честью для оправдания действий Советского Союза. Я это делал, и в этом заключается громадная разница, если Вы захотите вдуматься.

Если Вы будете рассматривать этот вопрос как касающийся только меня лично, то ни Вам, ни Вашим коллегам не удастся понять самого главного. Я — не первый интеллигент, уходящий из партии в связи с разоблачениями хрущевского доклада. . . *) И с ними ушли сотни рабочих и других партийцев, хороших, честных, здравомыслящих людей, которых я уважаю и почитаю.

Прошлым летом, Борис, я получил от московского радио радиogramму с запросом о моих взглядах на опыты с атомной бомбой. Я ответил, что все государства должны прекратить эти опыты, но что Советский Союз, как социалистическое государство, посвятившее себя служению человечеству, должен быть инициатором в этом вопросе. Я сказал, что Советский Союз должен прекратить опыты сейчас же, независимо от того — согласятся или нет другие государства. Может быть, я ошибался, но таково было мое мнение. Почему оно никогда не было опубликовано? Почему я не получил ответа? Что за детская претензия считать, что каждая неприятная для вас идея может быть похоронена, если окружить ее полным молчанием. . . Не является ли это глупостью, аналогичной той, которая проявилась в замалчивании слов Джона Денниса о разрушении еврейской культуры, замалчивании при опубликовании в «Правде» его речи только этого места.

И почему, наконец, Борис, Вы сказали нам здесь, в Нью-Йорке, что еврейский писатель Квитко жив и благоденствует, является Вашим соседом в коммунальном доме, в то время как он был среди тех, которых казнили, и уже давно был мертв? Почему? Почему Вы не могли избежать ответа на вопрос и сказать нам, что Вы не знаете его или не хотите говорить на эту тему? Почему Вы должны были лгать — так ужасно и так преднамеренно?

Сейчас Вы имеете мое заявление в журнале «Мэйн Стрим». Опубликуйте его. Опубликуйте это письмо. Ответьте на мои аргументы. Скажите мне, что террор кончился. Скажите мне, что с антисемитизмом покончено раз и навсегда. Требуйте отмены смертной казни — давней прекрасной мечты социализма. Скажите нам правду — только ее, правду. Может быть, я был безумцем, не зная об этом терроре раньше, но я действительно не знал. Вы хотите, чтобы я поклонялся коммунистической партии, как иконе? Верьте мне, я поклоняюсь кое-чему лучшему: правде и свободе. Неужели Вы можете думать, что люди согласятся на замену одной тирании другой?

Я рисковал своей жизнью и судьбой, чтобы говорить правду, как

*) Следуют четыре имени, приведенные автором в письме, как пример людей, оставивших партию; в книге эти имена выпущены.

я ее вижу. Можете Вы сделать то же самое? Напечатайте это письмо в «Литературной Газете». Раскройте двери! Дайте свободу слову! Только таким образом может придти исцеление больного мира. И пусть не пострадает ни один человек, прямо и честно высказывающий свое мнение.

Я хочу остаться Вашим другом. Могу ли? Это зависит от Вас.
«Говард Фаст.»

Мне кажется, что после этих последних штрихов читатель должен составить себе довольно ясную картину того положения, которое занимает писатель в коммунистической партии. Во всяком случае, я старался нарисовать эту картину по мере моих сил и возможностей. Конечно, картина эта не может быть полной, но ведь и вообще никакая книга не может дать полного освещения какого бы то ни было вопроса. Директивы, даваемые Хрущевым советским писателям, очень торжественно говорят — «о блестящем будущем писателей, в котором коммунистическая партия явится их сияющим солнцем, согревающим их и руководящим ими».

Мое обращение к дружбе было встречено молчанием, потому что с момента, когда я написал письмо, и до сегодняшнего дня я не получил от Полевого ни слова. Оклеветал я его? Свидетелями его заявления о Квитко были многие, и все они были коммунистами. Разве это клевета — заявить, что Квитко был уже мертв, когда Полевой говорил, что он жив. Или: разве можно объяснить — почему люди делают то, что они делают? . .

Даже в тяжелые годы, проведенные мною в коммунистической партии, я считал себя разумным человеческим существом. Я требовал фактов: и если я не хотел верить тому, что исходило от врагов Советского Союза, то я неизбежно должен был поверить тому, что исходило от самой коммунистической партии. Столкнувшись с таким положением, я был поставлен перед необходимостью понять и разобраться в том, что случилось со мною и с моими товарищами. Кроме того, я чувствовал себя обязанным сообщить другим, в том числе и некоммунистам, обо всем том, что я понял. С такой целью и написана мною эта книга.

Нет оснований предполагать, что, написав свою историю и изложив мои доводы, я стал бы представлять коммунистическую партию организацией, которая может принести пользу человечеству. Как раз наоборот. Не в этом ли заключается разница между мною и Веркором, о которой упоминает Полевой? И не партия ли является для Полевого основной предпосылкой всех его мыслей и действий? Если это так, то мой последний вопрос, обращенный к нему, был таким же риторическим по своим последствиям, как и все насыщенные трагизмом вопросы, заданные ему в моем письме. Быть может, Полевой считает себя «свободным человеком»? Но если это так, то он соглашается на определение «свободы» в пределах тех ограничений, которые установлены запретами и наказаниями коммунистической партии.

Я не отрицаю, что это тоже некая разновидность свободы. Когда я отбывал заключение в тюрьме, я также пользовался некоторой свободой, хотя это была только свобода измерять шагами камеру. Когда

меня перевели из этой камеры в другую государственную тюрьму, я получил большую свободу, но ни один самый одурманенный тюремщик не стал бы верить, что моя свобода и есть та широчайшая свобода, которую цивилизация дала человечеству.

Я могу только строить предположения: почему, в данном частном случае, мое письмо Полевому осталось без ответа. В смысле общих принципов — я знаю почему ответа не последовало; и хотя коммунистические писатели внутри Советского Союза и за его границами могут высмеивать и «объяснять» мои слова, как слова того, кого они обязаны клеймить самыми оскорбительными эпитетами из своего лексикона, — эти писатели также искренне и глубоко понимают, почему мое письмо осталось без ответа.

Оно осталось без ответа потому, что я обрел свободу, которой у них нет. . . Не потому, что Соединенные Штаты Америки представляют собой совершенный демократический строй — описание недостатков в их устройстве составляет предмет многих книг, и еще много будет написано на эту тему, — но потому, что в этой стране отдельная личность, ее права и ее положение признаются и защищаются. Иногда это делается лучше, иногда хуже, но право на защиту остается всегда.

Ни Никита Хрущев, ни Борис Полевой не заслужили права говорить о «светлом будущем» человечества, потому что история преподавала нам определенный урок: когда человек унижен, преследуем и управляем при помощи страха — во имя ли короля, церкви, партии или государства, все равно, — будущее человечества совсем не светло, а наоборот: темно и печально.

Чем бы ни была в свое время коммунистическая партия, теперь она является тюрьмой человеческих надежд и упований. Запуганный день принадлежит тем, кто разрушает стены тюрьмы, в которую заключен человеческий разум, а не тем, кто укрепляет эти стены. Человечество всегда видело и всегда будет видеть обетованное будущее — распространение разума и расширение горизонта в великой перспективе личной свободы.

В издательстве ЦОПЭ вышли в свет и имеются на складе следующие книги:

1. В. Дудинцев — «Не хлебом единым», роман.
2. В. Жабинский — «Просветы», заметки о советской литературе 1956-57 годов.
3. Л. Богданов — «Телеграмма из Москвы», сатирическая повесть.
4. В. Мерцалов — «Закрепощенная земля», анализ сельскохозяйственной политики КПСС.
5. А. Федоров — «Реорганизация управления промышленностью в СССР».
6. Н. Осипов — «Клевета друзей», философско-исторические этюды на русские темы.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР
— Ц О П Э —

ZENTRALVERBAND
POLITISCHER EMIGRANTEN AUS DER UdSSR e.V.
— Z O P E —

Мюнхен — Западная Германия

Z O P E - Verlag
München 2, Gaiglstr. 25
Deutschland